

# Габриэле д'Аннунцио

## Огонь

### Торжество огня

— Стелио, мне кажется, вы на первый раз немножко волнуетесь? — спрашивала Фоскарина, касаясь руки своего молчаливого друга, сидевшего рядом. — А какой дивный вечер в честь великого поэта!

Как истая художница, она мгновенно охватила взглядом всю красоту, разлитую в сумерках последнего сентябрьского дня, и в ее темных, полных жизни зрачках засверкали, рассекаемые веслами, отражения в воде гирлянд огней вокруг высоких фигур золотых ангелов, блестящих на отдаленных колокольнях San-Marco и San-Giorgio-Maggiore.

— Как всегда, — продолжала она своим нежным голосом, — как всегда, все вам благоприятствует. В такой вечер, как сегодня, чья же душа не полетит навстречу грезам, вызванным вашим словом? Не чувствуете ли вы, что толпа уже готова воспринять ваше откровение?

Так убаюкивала она своего друга, стараясь опьянить его непрерывной лаской.

— Действительно, этот роскошный и

необычайный праздник способен извлечь из башни слоновой кости даже такого гордого поэта, как вы. Кому же, как не вам, должно было выпасть на долю счастье в первый раз обратиться с речью к народу в таком торжественном месте, как зал Большого Совета, с высоты эстрады, откуда некогда дож приветствовал собрание патрициев: на фоне «*Рая*» Тинторетто и со «*Славой*» Веронезе над головой.

Стелио Эффрено заглянул ей в глаза.

— Вы хотите опьянить меня, — сказал он, улыбаясь. — Это кубок, подносимый к устам идущего на казнь. Ну, что же, друг мой, вы правы, я вам сознаюсь — сердце мое слегка трепещет.

Радостные крики, поднимаясь с Traghetti-di-San-Gregorio, разносились по Большому каналу, отражаясь в порфириновых и мраморных дисках, украшавших дворец Дариев, подобно престарелой куртизанке, поникшей под пышностью своих украшений.

Показалась королевская лодка.

— Вот та из ваших слушательниц, которую, согласно этикету, вы должны увенчать гирляндой во вступительной части вашей речи, — сказала женщина, изобретательная в лести, намекая на королеву.

— Кажется, в одном из ваших первых произведений вы признаетесь в своем пристрастии к церемониалу. Темой для одного из самых

оригинальных созданий вашей фантазии послужил праздник при дворе Карла I, короля испанского.

Лодка поравнялась с гондолой, и сидящие обменялись приветствиями. Королева, узнав автора Персефоны и знаменитую драматическую артистку, обернулась, повинувшись инстинктивному любопытству: это была светлая блондинка, свежая, розовая, с лицом, озаренным сияющей улыбкой, неиссякаемым источником струившейся среди бледных извивов буранских кружев. Рядом с нею помещалась Андриана Дуодо, культивировавшая в своем саду на маленьком промышленном острове чудесные сорта старинных цветов.

— Не кажется ли вам, что в улыбках этих двух женщин есть что-то родственное? — спросила Фоскарина, следя за бурливой струей воды, оставляемой исчезающей королевской лодкой, казалось, в этой струе продолжало отражаться двойное сияние женских улыбок.

— У графини наивная и чудная душа, одна из редких венецианских душ, сохранивших яркий колорит старинных полотен, — сказал Стелио тоном, звучавшим благодарностью. — Я обожаю ее руки, одаренные удивительной способностью чувствовать. Эти руки трепещут, прикасаясь к прекрасному кружеву или роскошному бархату, и задерживаются на нем с какой-то стыдливой грацией, маскирующей испытываемое

наслаждение. Однажды, когда я ее сопровождал в академию, она остановилась перед «Избиением младенцев» Бонифачио I. Вы, конечно, помните эту зеленую одежду женщины, которую солдат Ирода собирается убить: это нечто незабвенное! Графиня стояла перед картиной, вся проникнутая ощущением полного удовлетворения и восторга, потом сказала: «Уйдем, Эффрено, проводите меня, мои глаза должны сомкнуться, после зрелища этой одежды я не могу ни на что больше смотреть!» — Ах, дорогой друг, не улыбайтесь! Говоря это, она была наивно-искренна, глаза ее, действительно, сомкнулись, запечатлев этот кусок полотна, где Искусство с помощью небольшого количества красок сконцентрировало свою бесконечно радостную тайну. И я сопровождал действительно слепую, охваченный благоговением перед этой избранной душой, в которой могущество красок породило энтузиазм, способный на некоторое время стереть малейшие следы будничной жизни и воспрепятствовать всякому иному общению. Как назвать эту способность? Наполнять кубок до краев, по-моему. Так вот это-то я и хотел бы сделать сегодня вечером, но для этого необходимого вполне владеть собой...

Новые крики, более сильные и продолжительные, прорвались из-за двух гранитных колонн, охранявших вход, в тот момент,

когда королевская лодка причаливала к Пиацетте, черневшей народом. Во время паузы компактная масса народа представляла собой какой-то водоворот, а галерея Дворца дождей, наполненная смутным рокотом, напоминала собой внутренность морских раковин, с их обманчивым гулом. В прозрачном воздухе снова прозвучали единодушные крики, разбиваясь о хрупкий лес колонн. Они пронеслись над головами высоких статуй, достигая крестов и куполов церквей, и, наконец, рассеялись в сумеречной дали. Во время новой паузы, царствуя над всем этим гулом внизу, высилась несокрушимая и сложная гармония зданий и церквей, над которыми, подобно легкой мелодии, проносились языческие орнаменты Библиотеки и каким-то мистическим криком возносилась к небу голая вершина башни. Эта безмолвная музыка неподвижных линий была так могущественна, что создавала почти видимый призрак более прекрасной и богатой жизни, витавшей над жизнью волнующейся толпы. Толпа эта чувствовала божественную силу момента и, приветствуя ликованиями юный царственный облик, свою цветущую белокурую королеву с неиссякаемой улыбкой на лице, подплывавшую к античному берегу, — быть может, выражала свое смутное стремление подняться над узостью повседневной жизни и собрать дары вечной Поэзии,

рассыпанные по всему этому мрамору и над водой. В толпе, подавленной непрерывным трудом бесцветной жизни, смутно пробуждалась страстная и сильная душа предков, приветствовавших возвращение подобного морского флота, ей вспоминался трепет гигантских знамен, развивавшихся подобно крыльям несущейся Победы, или их звонкое хлопанье, угрожавшее обратившемуся в бегство неприятельскому флоту.

— Знаете ли вы, Пердита, — спросил вдруг Стелио, — знаете ли вы в целом мире другое место, подобно Венеции, обладающее силой в известные моменты возбуждать энергию человеческой жизни, воспламеняя желания до горячечного бреда. Знаете ли вы более опасную искустельницу?

Женщина, которую он называл Пердитой, склонив голову и как бы собираясь с мыслями, ничего не ответила, непреодолимая дрожь пробегала по ее телу при звуках голоса ее юного друга, так внезапно обнаружившего всю страстность и богатство его души, возбуждавшей в ней чувство непобедимой любви и ужаса.

— Мир, забвение! Разве вы обретае их здесь, на вашем пустынном канале, когда вы возвращаетесь домой утомленная и вся пылающая от соприкосновения с дыханием толпы, приходящей в неистовство от одного вашего жеста? Что касается меня, то когда я плыву по этой

мертвой воде, я чувствую, как жизнь моя расширяется с головокружительной быстротой, а мысль воспламеняется будто перед наступлением бреда.

— Сила и огонь в вас самом, Стелио! — произнесла Фоскарина, не поднимая глаз, почти униженно.

Он умолк, погрузившись в раздумье, в его мозгу рождались стремительные образы и мелодии, будто в порыве внезапного вдохновения, и под неожиданным и могучим их натиском он испытывал необычайное наслаждение.

Это был тот вечерний час, который в одном из своих произведений он назвал часом Тициана, потому что в это время все предметы сверкают таким же богатством золота, как обнаженные тела этого чарующего художника, и кажутся скорее озаряющими небо, чем заимствующими от него свой свет.

Среди собственной голубовато-зеленой тени выступала восьмиугольная церковь, взятая Бальтазаром Лонгено из «Сна Памфила» со своим куполом, завитками, статуями — причудливая и роскошная, как храм Нептуна, она была похожа на внутренность морских раковин, сверкающую белизной перламутра. Соленая влага образовала в углублениях камня блестящие росинки, придавая этим камням вид жемчужных раковин,

полуоткрытых в своей родной стихии.

— Пердита! — воскликнул поэт, испытывавший невыразимое наслаждение, чувствуя, как все окружающее оживает по его вдохновению, — не кажется ли вам, что мы следуем за погребальной процессией Лета, умершего Времени Года? Оно покоится на погребальной барке, облаченное в золото, как какая-нибудь догаресса Лоредано, Морозино и Соранцо золотого века, кортеж сопровождает усопшую на остров Лурано, где властитель Огня заключит ее в саван опалового стекла, чтобы, погруженная на дно лагуны, в ожидании, пока Солнце воскресит ее снова, она могла сквозь свои прозрачные веки созерцать гибкие движения водорослей, создающих для нее иллюзию жизни, являясь подобием сладострастных волн роскошных волос, некогда струившихся вдоль ее тела.

Невольная улыбка разлилась по лицу Фоскарины и струилась из ее глаз, перед которыми во всей своей реальности предстало видение прекрасной усопшей. И действительно, образ и ритм этой неожиданной поэтической фантазии удивительно ярко передавали настроение всей окружающей обстановки.

Подобно тому, как голубоватая молочность опала полна скрытых искр, — неподвижная вода большого бассейна заключала в себе таинственные



блестки, обнаруживаемые при каждом всплеске весел.

Позади сумрачного леса судов, стоявших на якорях, вырисовывалась San-Giorgio-Maggiore в виде огромной розовой галеры, повернувшей носом в сторону Фортуны, манившей ее с высоты своим золотым шаром. В просветах между судами открывался канал Giudecci, похожий на спокойный залив, куда нагруженные суда, спустившись по речному пути со своим грузом тесаных бревен, казалось, несли аромат лесов, склоненных над далекими водами. А от мола, где над двухъярусной галереей, открытой для публики, возвышалась белая с красным стена, скрывающая изысканные произведения Искусства, набережная Невольников делала постепенный поворот по направлению к садам и островам, как бы желая дать отдых мысли, встревоженной возвышенными словами Творчества, на спокойных формах Природы. И как бы с целью вызвать еще более яркое впечатление Осени, мимо проплывала цепь барок, нагруженных плодами, распространявшими аромат фруктового сада над зеркалом вод, извечно отражавших завитки капителей и стрелки готических сводов.

— Известна ли вам, Пердита, — произнес Стелио, с наивным удовольствием смотря на светлый виноград и лиловые фиги, наполнявшие в гармоническом сочетании барку от кормы до

самого носа, — известна ли вам одна изящная подробность из хроники дождей? Догаресса для покрытия расходов на свои парадные одежды пользовалась известным правом на налоги с плодов. Как вам нравится эта маленькая деталь? Плоды островов одевали ее в золото и венчали ее жемчугами. Помона, платящая дань Арахнее, — вот аллегория, которую Веронез мог бы изобразить на потолке ее уборной. Что касается меня, то, представляя себе благородную даму на высоких деревянных каблучках, украшенных драгоценными камнями, — я счастлив при мысли, что в складках ее тяжелой парчи таится что-то свежее, полевое: дань плодов. Какое очарование приобретает благодаря этому ее роскошь. Теперь представьте же себе, дорогой друг, что этот виноград и фиги новой осени являются ценой золотой одежды, облакающей почившее Время Года.

— Какая очаровательная аллегория, Стелио! — воскликнула Фоскарина, вся озаренная улыбкой, полной молодого восторга и изумленная, как ребенок. — Кто дал вам когда-то название чародея образов?

— О! Образы! — воскликнул поэт вдохновенно. — В Венеции совершенно невозможно чувствовать иначе, как в музыкальной форме, и думать вне образов. Они стекаются к нам отовсюду — бесчисленные и разнообразные, —

более реальные и живые, чем люди, сталкивающиеся с нами в темных переулках. Склонившись к ним, мы можем изучить глубину их зрачков и по выражению губ отгадать, какие слова они готовятся произнести. Одни из этих образов подобны деспотичным любовницам и держат нас под игом своей власти, другие подобны девственницам, окутанным дымкой покрывала, или же заключены в плотную оболочку, подобно куколкам, и лишь тот, кто сумеет сорвать с них покров, будет творцом их жизни. Сегодня утром, при пробуждении, душа моя уже была полна этими образами. Она походила на дерево, усеянное куколками.

Улыбнувшись, он приостановился.

— Если сегодня вечером они раскроются, — прибавил он, — я спасен, в противном случае — я погиб!

— Погиб? — сказала Фоскарина, смотря в его лицо глазами, в которых светилась такая вера, что он почувствовал к ней безграничную благодарность.

— Нет, Стелио, вы не можете погибнуть. Вы всегда уверены в себе, вы держите свой жребий в своих руках. Я убеждена, что вашей матери никогда не приходилось испытывать страха за вас, даже при самых серьезных обстоятельствах. Не правда ли? Ведь одна гордость заставляет трепетать ваше

сердце...

— О, мой друг, как я люблю вас и как я благодарен вам за все ваши слова! — откровенно сознался поэт, беря ее за руку. — Вы постоянно даете пищу моей гордости и рождаете во мне иллюзию обладания теми качествами, к приобретению которых я непрерывно стремлюсь. Иногда мне кажется, что вы сами обладаете силой придавать необычайные свойства созданиям, рождающимся в моей душе, и сообщать им новую прелесть в моих же собственных глазах. Порой вы воскрешаете в моем уме изумление того скульптора, который, принеся вечером в храм изображения богов, еще не остывшие и еще, так сказать, не вполне отдалившиеся от лепивших их пальцев, — находит на следующее утро свои статуи воздвигнутыми на пьедестал, окруженными облаками фимиама и испускающими божественность из всех пор грубой материи, из которой он вылепил их своими бранными руками. Вы проникаете в мою душу, дорогой друг, только затем, чтобы творить в ней подобные превращения. Поэтому всякий раз, как мне выпадает на долю счастье быть подле вас, мне кажется, что вы мне необходимы, а между тем в период нашей слишком долгой разлуки я могу существовать без вас, как и вы без меня, несмотря на то, что мы оба знаем, какая красота могла бы родиться от полного

слияния наших двух жизней. Таким образом, сознавая всю ценность того, что вы мне даете, и предчувствуя то, что вы могли бы дать мне, я вынужден смотреть на вас, как на утраченную для меня, и тем именем, которым мне так нравится вас называть, я хочу одновременно выразить и неизбежность этой утраты, и мое сожаление о ней.

Он остановился, почувствовав, как дрогнула рука, лежавшая в его руке.

Затем, после паузы:

— Когда я называю вас Пердитой, — глухим голосом продолжал он, — мне представляется, что перед вашими глазами встает призрак моего желания с кинжалом в трепещущей груди.

Слушая дивные слова, которые лились так красиво из уст ее друга, она испытывала уже знакомое страдание. Необъяснимая тревога и горечь наполняли ее душу. Ей казалось, что она утрачивает ощущение собственной жизни, что ее переносят в какую-то фиктивную, необычайно сложную обстановку, наполненную галлюцинациями, среди которых ей трудно дышать. Вовлеченная в эту пламенную атмосферу, раскаленную, как горн кузницы, она чувствовала себя способной поддаться всевозможным превращениям в угоду фантастическим требованиям художника, для удовлетворения живущей в его душе потребности в красоте поэзии.

Она понимала, что для этой гениальной души она была тем же, чем был для нее яркий до осязательности образ почившего Времени Года, заключенный в саване опалового стекла.

И ею овладело страстное желание смотреть в глаза поэта как в зеркало, показывающее ей ее отражение.

Она страдала также от смутного ощущения аналогии между этой тревогой и той, что овладевала ею при вступлении в обманчивую жизнь подмоетков, когда ей предстояло воплотить какое-нибудь великое создание Искусства. Не вовлекал ли он ее насильственно в эту сферу высшей жизни и, чтобы сделать ее способной обитать в ней, не драпировал ли ее в роскошные одежды? Но тогда, как ей только благодаря невероятным усилиям удавалось держаться на этом уровне, — он сам чувствовал себя свободно и уверенно, как в своей родной стихии, обладая чудесным миром, обновляемым непрерывным актом творчества.

Достигнув осуществления в своей личности тесного слияния искусства и жизни, он открыл на дне своей души источник неиссякаемой гармонии. Он достиг способности непрерывно поддерживать в своем уме таинственное состояние, рождающее произведения красоты, и мгновенно преображать в идеальные образы мимолетные впечатления своей

богатой жизни.

Торжествуя эту победу, он вложил в уста одного из своих героев слова: «Я сам наблюдал в своей душе непрерывное зарождение высшей жизни, будто силой волшебного зеркала, видоизменяющей все внешнее». Обладая необычайным даром слова, он умел мгновенно передавать самые неуловимые оттенки ощущений с такой рельефностью и точностью, что иногда только что выраженные им мысли, теряя свою субъективность благодаря удивительному свойству стиля, казались уже не принадлежащими ему. Его голос, чистый и звучный, как бы обрисовывал точным контуром музыкальное очертание каждого слова и придавал еще большую рельефность оригинальным свойствам его речи. Все слушавшие его в первый раз испытывали двойственное впечатление — восторга и отвращения, так как, раскрывая себе, он постоянно подчеркивал глубокое непреодолимое различие между собой и другими. Но, благодаря тому, что его способность чувствовать не уступала его уму, для людей, часто сталкивавшихся с ним или близких ему, за кристаллом слов сквозила огненно-страстная душа. Этим людям было известно, как безгранична его способность чувствовать и грезить, через какое горнило проходили прекрасные образы, облекавшие сущность его внутренних

переживаний.

Та, которую он называл Пердитой, хорошо знала его и, как набожная душа, жаждущая спасения и надеющаяся на помощь свыше, надеялась она так при его помощи подняться и удержаться в сфере огня, куда ее влекло желание гореть и погибнуть, тщетные сожаления о минувшей молодости и ужас одиночества среди пустыни пепла.

— Теперь вы, Стелио, — сказала она со слабой улыбкой, маскировавшей ее страдание, и осторожно высвободивши руку из руки друга, — теперь вы, в свою очередь, хотите опьянить меня.

Потом, желая разрушить очарование:

— Смотрите! — воскликнула она, указывая пальцем на нагруженную барку, медленно плывшую им навстречу. — Смотрите, вот они, ваши гранаты!

Но голос выдавал ее волнение.

В сумеречной грезе по бледно-зеленой воде, серебристой, как молодые листочки ивы, скользила барка, нагруженная эмблематическими плодами, напоминающими ларчики золотистой кожи, увенчанные королевской короной, закрытые или полураскрытые над накопленными сокровищами.

Драматическая актриса вполголоса произнесла слова, обращенные Гадесом к Персефоне в тот момент, когда дочь вкушает роковой гранат:



«Quando tu coglieroi il colchico in fiore sul molle  
Prato terrestre...»<sup>1</sup>

— О, Пердита, как вы умеете придавать мрачный оттенок своему голосу! — прервал ее поэт, почувствовав гармонию этого мрака со словами этих стихов. — Как умеете вы становиться полуночной *innanzi sera!*<sup>2</sup> Помните Персефону, готовую погрузиться в Эреб, под стенание хора океанид? Ее лицо похоже на ваше, когда оно мрачно. Суровая в своем пеплуме шафранного цвета, она откидывает назад свою гордую голову, и, кажется, сама ночь струится в ее бескровном теле, сгущаясь под подбородком, в углублениях глаз, вокруг ноздрей, придавая ее лицу вид мрачной трагической маски. Это ваша маска, Пердита. Когда я писал свою *«Тайну»*, воспоминание о вас помогло мне вызвать божественный образ. Бархатная ленточка шафранного цвета, всегда надетая на вашей шее, указала мне цвет,

---

1

*«Когда ты сорвешь безвременник в цвету  
На мягком лугу...»*

<sup>2</sup> *Перед вечером (Данте)*

подходящий для пеплума Персефоны. А в один из ваших вечеров, при нашем прощании на пороге неосвященной комнаты, — помните, в тот тревожный вечер прошлой осени? — вам удалось одним своим жестом озарить мою душу и осветить в ней только зреющее еще неясное и неподвижное создание. Не подозревая этого внезапного пробуждения жизни, вы вернулись в глубокий мрак своего Эреба. Ах! Я был уверен, что услышу ваши рыдания, а вместе с тем в душе моей пронесся поток победной радости. Я никогда не говорил вам об этом, Пердита, не правда ли? Это произведение должно быть посвящено вам — как идеальной Луцине.

Она страдала под взглядом художника. Страдала от этого выражения своего лица, приводившего его в такой восторг, от полноты жизни, бившей в нем непрерывным ключом. Страдала за все свое существо: от выразительности своего лица, от необычайной мимической способности мускулов лица, от художественного чутья, регулировавшего ее жесты и движения, от выразительной мрачности тени, которую, нередко, среди безмолвия сцены, она умела набросить на свое лицо, подобно облаку печали, заполнявшему теперь морщины, проведенные годами на ее теле, утратившем свежесть молодости. Она мучительно страдала от его обожаемой руки, от этой нежной и

благородной руки, которая, нежно лаская, способна была причинить ей так много горя.

— Верите ли вы, Пердита, — спросил Стелио после небольшой паузы, отдаваясь ясному и свободному течению своих мыслей, подобно реке с ее излучинами, образующими островки в долине, — оставляющих в его сознании уединенные пространства, где в известный момент он всегда мог найти новые сокровища, — верите ли вы, Пердита, в таинственное значение символов? Я не имею в виду ни астральные науки, ни знаки гороскопа. Я хочу только сказать, что, подобно верующим в нашу зависимость от планет, мы могли бы создать идеальное общение между нашей душой и земными предметами, таким образом, чтобы, приобретая постепенно отпечаток нашей души и возвеличенные нашей иллюзией, они становились наконец для нее символами неведомой судьбы и таинственным пророчеством появлялись бы перед нами в известных случаях жизни. Вот один из способов вернуть нашей очерствевшей душе частицу ее первобытной свежести. Необходимо, чтобы наши души порой уподоблялись дриаде, чувствующей в себе циркулирование живых соков дерева и разделяющей его жизнь. Вы, конечно, догадываетесь, что я намекаю на только что произнесенные вами слова по поводу проскользнувшей мимо барки. Те же самые мысли

неопределенно и лаконически вы выразили в своих словах: «Смотрите, вот *ваши* гранаты!» Для вас и для всех близких мне людей гранаты могут быть только *моими*. Для вас и для них представление о моей личности неразрывно связано с этим плодом, избранным мной эмблемой и заключающим в себе столько же поэтических образов, сколько в нем зерен. Если б я жил в эпоху расцвета греческого искусства и мифов, памятники которых открывают наши археологи, то ни один художник не изобразил бы меня иначе, как с гранатовым плодом в руке. Отделить от моей личности этот символ представлялось бы наивному художнику равносильным ампутации живой части моего организма: его языческому воображению этот плод казался бы приросшим к моей руке, как к своей родной ветке. И в сущности его представление о моей личности не отличалось бы от образов Гиацинта, Нарцисса или Кипариса, поочередно рисовавшихся ему то в виде растения, то в виде юноши. Но и в наши дни существуют живые и яркие умы, понимающие истинный смысл и красоту моих образов.

Разве вам самой, Пердита, не доставило наслаждения посадить у себя в саду гранатовое дерево, прелестный «эффреновский куст», чтобы каждое лето любоваться его расцветом и созревaniem моих плодов? В одном из ваших

писем, подобных крылатым вестникам любви, вы описывали мне красивую церемонию увенчания этого дерева ожерельями в день получения первого экземпляра моей *«Персефоны»*. Итак, для вас и всех любящих меня я действительно воскрешаю древнее мифическое существо, слитое воедино с вечной Природой.

Поэтому после моей смерти (если судьба дарует мне счастье вполне проявит себя в жизни) ученики мои будут чтить мою память в этом дереве, и острота его листьев, пламенность цветка и внутренние сокровища этого гордого плода будут для них эмблемами свойств моего таланта. Эти листья, цветы и плоды, не менее красноречивые, чем слова покойного учителя, приведут их к познанию остроты, огня и скрытых сокровищ, заключающихся в моих произведениях.

Теперь вам понятно, Пердита, в чем состоит главное значение символа. Я сам в силу аналогии, существующей между мной и этим дивным плодом, вынужден культивировать в себе его роскошные свойства, воплощающие мои стремления к полноте и яркости Жизни.

Мне достаточно этого растительного символа, вполне убеждающего меня в том, что силы мои, развиваясь сообразно законам Природы, приведут меня к выполнению моей жизненной задачи.

«Natura così mi dispone»<sup>3</sup> — вот эпитафия на заглавном листе моей первой книги. Эти простые слова беспрерывно повторяет мне гранатовый куст, осыпанный цветами и плодами. Мы повинемся лишь неизменным законам нашей души, и благодаря этому среди бесчисленных падений она остается чистой и сохраняет свою цельность и жизнерадостность, составляющие наше счастье. Между моим искусством и жизнью не существует дисгармонии.

Речь его струилась такой неудержимой волной, как будто он был уверен, что душа внемлющей ему женщины представляет собой глубокий сосуд, способный вместить эту волну, и ему хотелось наполнить его до краев. Духовное наслаждение, в связи со смутным сознанием таинственного процесса, подготавливавшего его ум к предстоявшему напряжению, все сильнее и сильнее овладевало душой поэта. По временам, когда он склонялся к своей единственной подруге, прислушиваясь к всплескам весел, будивших тишину широкого залива, — будто при вспышке молнии вставал перед ним образ тысячеликвой толпы, теснившейся в глубоком зале, и на мгновение сердце его тревожно сжималось.

---

<sup>3</sup> «Таким создала меня Природа»

— Странная вещь, Пердита, — произнес он, смотря вдаль на бледную воду, где морской отлив начинал уже обнаруживать темноватые отмели, — как часто случай приходит нам на помощь таинственным стечением обстоятельств, согласующихся с образом нашей фантазии. Не понимаю, почему поэты негодуют на вульгарность современной им эпохи и жалуется на несчастье родиться или слишком рано или слишком поздно. Я убежден, что в настоящее время, как и всегда, каждый умный человек имеет полную возможность создать себе в жизни свою собственную чудную сказку. Надо смотреть на мутный водоворот жизни тем самым пытливым умом, о котором Винчи говорил своим ученикам, советуя им наблюдать стенные пятна, пепел очага, облака и прочие окружающие предметы и находить в них *invenzioni mirabilissime* и *infinite cose*.<sup>4</sup> Так, в колокольном звоне, — прибавлял Леонардо, — ваша фантазия найдет всевозможные звуки и образы. Этот великий мастер хорошо знал, что случай всегда был другом талантливого художника. Я со своей стороны не перестану удивляться услужливости случая, заботливо идущего навстречу моей фантазии. Уж не для того ли мрачный Гадес заставил свою жену

---

<sup>4</sup> Удивительное откровение и бесконечное разнообразие

съесть семь зерен граната, чтобы дать мне сюжет для моего творения?

Он прервал свои слова взрывом молодого смеха, обнаружившего природную веселость его характера.

— Смотрите, Пердита, — говорил он, продолжая смеяться, — смотрите, не прав ли я? В прошлом году, в начале сентября, я был приглашен донной Андрианой Дуодо в Бурано. Утром мы гуляли по саду, а после полудня отправились в Торчелло. В то время я уже начал переживать миф о Персефоне, мое создание незаметно созревало в моей душе и мне казалось, что я плыву по волнам Стикса к стране усопших Теней. Никогда еще я не испытывал более яркого и сладостного ощущения смерти, как в этот миг, это ощущение делало меня таким воздушным, что, казалось, я мог ступать по лесам асфоделей, не оставляя на них следов. Воздух был влажен, тепел и туманен, каналы извивались змейками среди покрытых бледной зеленью берегов... Вам, конечно, знакомо Торчелло в солнечный день?... Все время на лодке Харона шел оживленный разговор, кто спорил, кто декламировал. Шумные одобрения вернули меня к действительности из страны смерти, где блуждало мое воображение. Франческо де Лизо, намекая на мою особу, сожалел о том, что художник со столь ярко выраженной чувственностью, — я привожу



его подлинные слова, — вынужден держаться в стороне, вдали от тупоголовой толпы, настроенной враждебно, и праздновать пир звуков, красок и форм лишь в чертоге своей уединенной мечты. Отдавшись лирическому порыву, он вспоминал красивую и радостную жизнь венецианских художников, народную любовь, возносившую их на вершину славы, красоту, силу и радость, которую они распространяли вокруг себя, воспроизводя жизнь в бесчисленных образах на сводах и стенах зданий. Тогда донна Андриана воскликнула: «Ну, так я обещаю, что Венеция устроит торжественный праздник в честь Стелио Эффрено!» И обещание догарессы подтвердилось. В тот же миг, на плоском зеленом берегу, я увидел гранатовое дерево, усеянное плодами, подобно видению галлюцинации, оно одно нарушало бесконечную грусть этого унылого места. Донна Орсетта Контарини, сидевшая рядом со мной, испустила крик радости и протянула обе руки, такие же нетерпеливые, как и ее губы. По-моему, нет ничего восхитительнее искренно и сильно выраженного желания. «Я обожаю гранаты!» — воскликнула она, и чувствовалось, что на кончике своего языка она уже ощущает их тонкий и острый вкус. Она была наивна, так же как и ее архаическое имя. Возглас этот растрогал меня, но Андреа Контарини, казалось, очень не понравилась эта экспансивность.

Вот, думалось мне, настоящий Гадес, питающий недоверие к предательскому свойству семи зерен граната, по отношению к супружеству. Но гребцы, тронутые так же, как и я, возгласом Орсетты, пристали к берегу, и я мог выпрыгнуть и сорвать плоды родного мне дерева. Тогда мне представился случай устами язычника повторить слова Тайной вечери: «Примите, ядите, это есть тело мое, творите это в мое воспоминание». Ну, что вы думаете об этом, Пердита? Пожалуйста, не воображайте, что это моя фантазия. Я вам рассказал сущую правду.

Она позволяла увлекать себя этой изящной и вольной игрой фантазии, где он изощрял свой ум и красноречие. В нем чувствовалось что-то струящееся, живое и сильное, возбуждавшее в воображении его подруги двойственное и противоположное представление, о воде и огне.

— Итак, — продолжал он, — донна Андриана исполнила свое обещание. Повинуясь наследственному вкусу к роскоши, так цельно сохранившемуся в ней, она устроила во Дворце дождей действительно царское торжество, по примеру праздников конца XVI века. У нее появилась фантазия воскресить забытую Ариадну — Бенедетто Марчелло — и услышать ее жалобы в том самом месте, где Тинторетто изобразил дочь Миноса, принимающую звездную корону из рук Афродиты. Не узнаете ли вы в красоте этого

замысла женщину, чьи милые глаза восторженно остановились на земной одежде незабвенной картины? К этому следует добавить, что концерт в зале Большого Совета уже имел исторический прецедент.

В 1574 году в этом же зале в честь благочестивейшего из королей, Генриха III, было разыграно мифологическое произведение Корнелио Франжепани с музыкой Клавдио Меруло. Признайтесь, Пердита, что моя эрудиция изумляет вас. Ах, если б вы знали все, что я собрал по этому поводу! Как-нибудь, когда вы заслужите серьезного наказания, я прочту вам свою речь.

— Как! Разве вы сегодня не произнесете ее во время праздника? — спросила изумленная Фоскарина, боясь, чтобы он со свойственной ему беспечностью не обманул ожиданий публики.

Он понял беспокойство своей подруги, и ему захотелось подразнить ее.

— Сегодня вечером, — отвечал он со спокойной уверенностью, — я намерен пить шербет в вашем саду и, при свете звезд, любоваться гранатовым деревом, украшенным ожерельями.

— Ах, Стелио! Неужели вы способны это сделать? — воскликнула она, приподнявшись с места.

В ее словах и движениях было столько сожаления, и вместе с тем перед глазами его

пронеслось такое яркое видение разочарования возбужденной толпы, что он смутился, образ страшного тысячеликого чудовища выступил перед ним среди золота и пурпура громадного зала, почувствовав пристально устремленные на себя взгляды и горячее дыхание этой толпы, он в одно мгновение измерил всю опасность, которой собирался подвергнуть себя, доверившись вдохновению момента, и он почувствовал, что мысли его путаются, а голова начинает кружиться.

— Успокойтесь, — сказал он, — я пошутил. Я пойду к зверям и пойду безоружный. Не предстал ли сейчас перед нами символ? Неужели вы не верите, что чудо в Торчелло было предзнаменованием? И вот новое появление моего символа призывает меня теперь следовать по пути моего призвания. Вы знаете, мой друг, я умею говорить лишь о самом себе, следовательно, с трона дождей я буду вести речь только о своей драгоценной душе, под покровом какой-нибудь пленительной аллегории, чаруя слушателей красотой ритма. Я предполагаю говорить *ex tempore*, если только с высоты *Рая* пламенный дух Тинторетто сообщит мне свой огонь и смелость. Меня соблазняет риск. Но вы не можете себе представить, в какое странное заблуждение я впал, Пердита. Когда догаресса объявила мне о предстоящем празднике и просила принять в нем

участие, я решил сочинить торжественную речь, настоящую церемониальную прозу, просторную и пышную, как великолепные одежды, заключающиеся в витринах музея Коррера, с глубоким преклонением к ногам королевы во вступительной части и с великолепной гирляндой на головку светлейшей Андрианы Дуодо. И, странно, в продолжение нескольких дней я находил удовольствие в духовном общении с венецианским патрицием XVI века, воспетым кардиналом Бембо, членом академии Uranici и Adorni, постоянным гостем садов Лурано и Азольских холмов. Я, несомненно, чувствовал связь между оборотами моих периодов и золочеными багетами, обрамлявшими картины на потолке залы Совета. Но — увы! — вчера утром, когда, усталый, я явился сюда и, проезжая по Большому каналу, купался в его прозрачной и влажной тени, где мрамор выдыхал еще испарения ночи, — мне вдруг стало ясно, что все написанное мной имеет ничуть не большую ценность, чем эти уносимые отливом мертвые водоросли, мои собственные рукописи показались мне такими же чуждыми мне, как *«Триумф»* Lelio Magno и *«Морские сказки»* Antonio Maria Consalvi, цитированные и комментированные мной. Что же мне оставалось делать?

Он окинул взглядом небо и воду, как бы

пытаясь уловить в них чье-то невидимое присутствие или ожидая внезапного появления из них призрака. Желтоватый свет разливался по направлению к пустынным дюнам, с тонкими линиями наслоений, похожими на темные жилки агата. Сзади, по направлению к Salute, небо было усеяно легкими розовыми и лиловыми облачками и казалось морем, населенным медузами. Из окрестных садов доносились такие тяжелые испарения от растений, насыщенных зноем и светом, что казалось, будто испарения эти плавают по золотистой поверхности вод, в виде струй ароматического масла.

— Чувствуете вы осень, Пердита? — спросил Стелио проникающим в душу голосом свою задумчивую подругу.

Перед взором ее снова носилось видение почившего Времени Года, одетого в саван опалового стекла и погруженного в лес водорослей.

— Да, в своей душе! — с грустной улыбкой ответила Фоскарина.

— А вы не видели, как вчера она опускалась над городом? Где вы были во время заката?

— В саду Джиудекко.

— А я был здесь, на набережной Невольников. Не кажется ли вам, что после того, как взор человеческий созерцал подобное зрелище красоты и ликования, он должен сомкнуться

навек? Сегодня вечером, Пердита, я хотел бы говорить о видениях моего внутреннего взора. Я хотел бы воспеть венчание Венеции с Осенью, приблизительно в тех тонах, какими воспользовался Тинторетто, изображая венчание Ариадны с Бахусом для зала Anticollege'a: среди лазури, пурпура и золота. Вчера в душе моей внезапно открылся родник поэзии былых времен. Память моя внезапно воспроизвела отрывок забытой поэмы, которую я начал писать девятистишьем, здесь, в Венеции, несколько лет тому назад, в первый раз приехав сюда морем в сентябре месяце, еще в ранней юности. Поэма носила заглавие «*Аллегория Осени*», и Бог изображался в ней не увитый виноградной лозой, а увенчанный драгоценностями, как принц Веронеза, пылающий страстью в момент приближения к городу Анадиомены, с его мраморными объятиями и тысячами зеленых поясов. В то время моя идея еще не достигла интенсивности, необходимой для воплощения ее в Искусстве, и, бессознательно, я отказался от попытки раскрыть ее во всей полноте. Но в деятельном уме, как в плодородной почве, ни одно зерно не пропадает даром — и идея эта сегодня вернулась ко мне снова в благоприятный момент и настойчиво требует своего воплощения. Какому таинственному и справедливому Року подчинена область нашей фантазии? Как надо было

оберегать этот первый росток, чтобы сегодня обнаружился его пышный расцвет? Винчи, обращавший свой взор на все глубокое, вероятно, хотел доказать одну из подобных истин своей басней о Просяном Зерне, говорившем Муравью: «Если ты не лишишь меня возможности родиться, я принесу тебе сам-сто». Какой изысканностью пера обладали эти пальцы, способные ломать железо! Ах какой неподражаемый художник! Что сделать мне, чтобы забыть его и отдаться всецело венецианцам?

Веселая ирония последней фразы и тонкая насмешка над самим собой сменились задумчивостью, и, казалось, он весь ушел в свои мысли. Опустив голову, ощущая во всем теле какой-то трепет от крайнего умственного напряжения, он пытался отыскать таинственную аналогию, объединяющую многочисленные и причудливые образы, проносившиеся перед ним мимолетными видениями, он старался наметить главные пути для дальнейшего развития своих мыслей. Это напряжение было так сильно, что заставляло трепетать все мускулы его лица. Смотря на него, женщина, в свою очередь, испытывала тяжелое ощущение, подобное тому, как если бы ей пришлось быть свидетельницей зрелища человека, изо всех сил натягивающего тетиву гигантского лука. Она понимала, что теперь он далекий, чужой, безразличный ко всему, что было чуждо его



собственной мысли.

— Уж поздно, пора возвращаться, — произнес он, вздрогнув и как будто с тоской. Снова перед глазами его было страшное тысячеликое чудовище, заполнявшее обширное пространство звучного зала. — Мне пора вернуться в отель, чтобы успеть переодеться.

И, отдаваясь соблазну молодого тщеславия, он задумался о том, как много женских глаз будет сегодня впервые устремлено на него.

— В отель Danieli, — приказала Фоскарина гребцу.

И по мере того, как резной нос гондолы скользил по воде, своими плавными колебаниями напоминая живое существо, оба они испытывали разнохарактерное, но тягостное беспокойство, оставляя за собой безграничную тишину залива, находившегося уже во власти мрака и смерти, чтобы вернуться в прекрасный, чарующий город, каналами которого, как венами сладострастной женщины, уже овладевала горячка ночи. Некоторое время они молчали, поглощенные своей внутренней бурей. Испарения садов плавали по воде струями благовонного масла, волны местами отливали блеском старой бронзы. В воздухе еще мелькали какие-то рассеянные отражения угасающего света.

Их взоры ловили этот умирающий свет, как бы ища в почерневших от времени дворцах, в

гармонии мрамора, пережившего века, — следы потускневшего величия. Казалось, в этот сказочный вечер воскресали чары и чудеса далекого Востока, привозимые некогда галерой, наполненной прекрасной добычей и несущейся на всех парусах. Вся окружающая обстановка до бесконечности возбуждала жизненную энергию молодого человека, стремившегося овладеть Вселенной, для полноты своей жизни, — и женщины, бросавшей на костер свою усталую душу, как искупительную жертву. И оба они трепетали под гнетом растущей тоски и внимательно вслушивались в бег Времени, будто волны, катящиеся вокруг них, были зловещими часами жизни.

Она вздрогнула: неожиданный залп салютовал спуску флага над кормой крейсера, стоявшего на якоре, напротив садов. На вершине темной массы они увидели спускающееся вдоль мачты трехцветное знамя, исчезающее из глаз подобно несбывшейся мечте героя.

В продолжение нескольких минут, пока гондола скользила в спускающемся сумраке, почти касаясь борта вооруженного колосса, тишина казалась еще более глубокой.

— Не знаете ли вы, — спросил вдруг Стелио, — эту Донателлу Арвале, которая будет петь сегодня Ариадну? — Голос его, отражаясь от крейсера в сгустившемся мраке, приобрел особую

звучность.

— Это дочь великого скульптора Лоренцо Арвале, — отвечала Фоскарина после минутного колебания. — У меня нет более близкого друга, и в настоящее время она пользуется моим гостеприимством. Вы встретите ее сегодня у меня после празднества. — Вчера донна Андриана с большим воодушевлением говорила о ней, как о каком-то чуде. Она сказала мне, что мысль воскресить Ариадну явилась у нее, когда она услышала Донателлу Арвале, спевшую неподражаемо арию: «Как вы можете смотреть на меня плачущей». Итак, мы сегодня услышим у вас чудную музыку, Пердита. О, как я жажду музыки! Там среди моего уединения в продолжение целых месяцев мне приходилось довольствоваться лишь музыкой моря, слишком бурной, да музыкой своей собственной души, еще более бурной.

Колокола Святого Марка дали сигнал к вечернему звону, и их могучие раскаты неслись широкой волной над зеркалом бассейна, дрожали над рядами судов, рассеиваясь над необъятным пространством лагуны. С San-Giorgio-Maggiore, с San-Giorgie dei Greci, с San-Giorgio degli-Schiavoni, с San-Giovanni-in-Bragoro, с San-Moisé, с Salute, Redentore все далее и далее до самых отдаленных колоколен Madonna-dell-Orto, San Giobbe Sant'Andrea — голоса бронзы, перекликаясь,

сливались в общий гигантский хор, раздающийся из-под одного невидимого купола своим звучным трепетом, соприкасающимся с мерцанием первых звезд. Эти священные голоса разливали бесконечное величие над городом Молчания. Падая с высот храмов и колоколен, открытых морским ветрам, они повторяли тоскующим людям слова этих святых, скрытых в сумраке глубоких церковных сводов, и колыхали таинственные огоньки лампад, зажженных по обету.

Утомленным дневным трудом они несли радостную весть от сонма высших существ, изображенных по стенам часовен, на иконах алтарей, от сонма тех, что некогда возвещали чудо, обещали новое царство. И умиротворяющая красота, порождаемая единодушной молитвой, слилась с грандиозной симфонией, пела в воздушном хоре, озаряя лик чарующей ночи.

— Вы еще можете молиться? — спросил вполголоса Стелио, смотря на женщину, которая, опустив веки, неподвижная, со сложенными на коленях руками, вся сосредоточилась в безмолвной молитве. Она не ответила, только губы ее сжались еще плотнее.

Оба они продолжали вслушиваться, чувствуя, как тоска снова приливает к сердцу, подобно реке, на время задержанной порогами. У обоих в памяти всплывал тот странный момент, когда между ними

неожиданно возникло новое лицо, прозвучало новое имя. Призрак мгновенного ощущения, испытанного в полосе тени, отбрасываемой бортом крейсера, стоял в их душах, как одинокий подводный камень, как неясная, но постоянная точка, вокруг которой образовалась неподдающаяся исследованию пустота. Тоска и страсть охватили их с новой силой и мощно влекли друг к другу, они не осмеливались встретиться взглядами, из страха увидеть в них слишком грубое вожделение.

— Увижу ли я вас сегодня после праздника? — спросила Фоскарина дрожащим, прерывающимся голосом. — Свободны ли вы?

Она спешила теперь удержать его, сделать своим пленником, боясь потерять, надеясь ночью найти любовный напиток, способный навеки приковать его к ней. Она сознавала неизбежную необходимость отдать теперь свое тело, но, несмотря на огонь, сжигавший ее, она видела с неумолимой ясностью всю ничтожность этого дара, так долго оспариваемого. И мучительный стыд, смешанный со страхом и гордостью, заставлял трепетать ее усталые члены.

— Я свободен, я ваш, — тихо ответил молодой человек, не поднимая взора. — Вы сами знаете: никто и ничто не может дать мне того, что можете дать вы.

Он также весь трепетал — перед ним сегодня

были только две цели: Венеция и женщина, обе соблазнительные и таинственные, утомленные бесчисленными переживаниями и страстью, слишком возвеличенные его мечтой, чтобы осуществить ее.

Несколько мгновений душа его была подавлена бурным наплывом сожалений и желаний. Гордость и опьянение упорным трудом, неукротимое тщеславие, ограниченное слишком узким поприщем, отвращение к скромной жизни, претензии на княжеские привилегии, скрытая жажда шумного успеха у толпы, мечты о более великом Искусстве, являющемся одновременно и ярким факелом, и орудием власти, — все эти прекрасные, одетые в пурпур мечты, вся ненасытная жажда первенства, славы и наслаждений — бушевали, ослепляли, душили его. И под наплывом грусти его все более и более влекло к возвышенной любви этой одинокой, кочующей женщины — сосредоточенной и безмолвной, казалось, несущей ему в складках своей одежды восторги далекой толпы, в которой криком страсти, воплем страдания или безмолвием смерти она вызывала божественный трепет восторга. Темный инстинкт указывал ему на эту умную, печальную женщину, сохранившую следы всех страстей и пламенных видений и утратившую молодость тела, утомленного бесчисленными

ласками и таинственного для него.

— Это обещание? — спросил он, поникнув головой и стараясь победить волнение. — Ах! Наконец-то!

Она не отвечала и только устремила на него горящий безумием взгляд. Стелио не видел этого взгляда. Наступило молчание, а переливы бронзы проносились над их головами, заставляя их трепетать всем телом.

— Прощайте, — сказала она, когда гондола пристала к берегу. — При выходе мы встретимся во дворе, у второго фонтана, ближайшего к молу.

— Прощайте, — ответил он. — Сделайте так, чтобы я заметил вас среди толпы, когда буду произносить свое первое слово.

Смутный гул со стороны San-Marco, смешиваясь со звоном колоколов и усиливаясь на Пиацетте, терялся по направлению к Фортуне.

— Пусть весь блеск сегодняшнего торжества озарит сиянием вашу голову, Стелио! — произнесла она пророческим голосом, страстно простирая к нему горячие руки.

Войдя во двор через южные ворота и увидя лестницу Гигантов, всю сплошь покрытую пестрой толпой, взбиравшейся по ней при красноватом свете факелов, дымящихся в чугунных канделябрах, Стелио остановился, почувствовав отвращение к

жалкой человеческой сутолке здесь, рядом с этой художественной архитектурой, еще более величественной при необычном вечернем освещении и своей сложной гармонией, свидетельствующей о силе и красоте былой жизни.

— Как все это жалко! — воскликнул он, обращаясь к сопровождавшим его друзьям. — В зале Большого Совета, на эстраде дождей, подыскивать метафоры, чтобы растрогать эти тысячи накрахмаленных грудей! Уйдем отсюда, посмотрим других, настоящих людей! Королева еще не выехала из дворца. Время терпит.

— До того момента, пока я не увижу тебя на эстраде, — со смехом заметил Франческо де Лизо, — я не уверен, что ты будешь говорить.

— Я думаю, что Стелио предпочел бы эстраде балкон, — сказал Пиеро Мартелло, желая польстить поэту мятежного духа, который он сам проявлял, в подражание ему. — Обращаться с речью, между двух красных колонн, к тупому народу, грозившему поджечь Procuratis и Librerio Vecchia!

— Это необходимо, если речь имеет целью от чего-либо удержать или что-либо ускорить. Я понимаю, что можно пользоваться написанным словом для создания чистейшей формы красоты, и к ней, заключенной в неразрезанную книгу, как в скинию, будут приближаться только избранные, жаждущие сорвать покров с истины. Мне кажется,



что живая речь, непосредственно обращенная к толпе, должна иметь целью исключительно действие, поступок. Только в таком случае может гордый дух без ущерба для себя войти в соприкосновение с толпой чувственной силой своего голоса и жеста. Во всяком ином случае его появление на эстраде будет не что иное, как гаерство. Поэтому я очень раскаиваюсь, что согласился взять на себя функцию декоративного оратора, говорящего исключительно для развлечения толпы. Вдумайтесь, сколько унижительного в этой оказанной мне чести, как бесполезна предстоящая мне задача. Все эти люди, случайные гости дворца, в один прекрасный вечер оторванные от своих жалких занятий или любимого отдыха, приходят слушать меня с тем же праздным и тупым любопытством, с каким они идут на концерт любого «виртуоза».

Для всех присутствующих женщин искусство, с каким завязан узел моего галстука, имеет гораздо большую ценность, чем художественность моих периодов. И в сущности единственным результатом моей речи будет хлопанье отекавших от перчаток рук или скромные приветствия, на которые я отвечу грациозным поклоном. Уж не это ли должно удовлетворить мое честолюбие?

— Ты не прав, — сказал Франческо де Лизо. — Ты должен радоваться счастливой

случайности, дающей тебе возможность, хоть на несколько часов, наполнить ритмом искусства жизнь легкомысленного города, показать нам красоты, способные облагородить наше существование, возобновить союз между Искусством и Жизнью. Если бы человек, положивший начало Праздничному Театру присутствовал здесь, он приветствовал бы в твоём лице возобновление этой предсказанной им гармонии. Но самое удивительное в этом то, что организованное в твоё отсутствие и без твоего ведома празднество имеет вид устроенного согласно внушения твоего гения. Вот лучшее доказательство возможности восстановления и распространения художественности вкуса даже среди варваров. Твое влияние в настоящую эпоху несравненно сильнее, чем ты думаешь. Женщина, которую ты называешь догарессой, при каждой являвшейся у неё идее задавала себе вопрос: «Понравится ли это Эффрена?» А если бы ты знал, сколько юношей задают себе теперь тот же самый вопрос, размышляя о своей внутренней жизни!

— И для кого же, как не для них будешь ты говорить? — воскликнул Даниель Глауро, ревностный и фанатический жрец красоты, вдохновенным голосом, казалось, отражавшим всю искренность и неисчерпаемый жар его души, любимый поэтом больше всех остальных за его

безграничную преданность. — Когда, стоя на эстраде, ты оглянешься кругом, ты легко их узнаешь по выражению глаз. Их множество, иные пришли издалека и ждут твоего слова, с тревогой, быть может, для тебя непонятной. Кто же они? Да все те, кто упивался твоими стихами, кто дышал пламенной атмосферой твоей мечты, кто находился во власти твоей химеры: все те, кому ты возвещал преображение мира чудом нового искусства. Велико, бесконечно велико число тех, кого ты увлек своей надеждой, своей жизнерадостностью. До них донеслась весть, что ты будешь говорить в Венеции, во Дворце дождей — в одном из самых славных и прекрасных мест в мире. Они увидят тебя впервые среди всех этих несметных сокровищ, представляющихся им единственной достойной тебя рамой. Старый Дворец дождей, хранивший мрак в продолжение длинного ряда ночей, вдруг осветился и ожил сегодня. По их мнению, ты один обладал властью зажечь его факелы. Понятно ли тебе теперь беспокойство их ожидания? И не думаешь ли ты, что даже для них одних ты должен говорить? Условие, при котором ты считаешь возможным говорить публично, — налицо. В этих душах ты можешь возбудить могучее чувство вечного стремления к идеалу. У скольких человек, Стелио, сохранится неизгладимое воспоминание об этой венецианской ночи!

Стелио положил руку на плечо преждевременно согбенного доктора-мистика и, улыбаясь, повторил слова Петрарки:

— Non ego loquar omnibus, sed tibi, sed mihi et his!..<sup>5</sup>

Он видел перед собой сияющие глаза неведомых учеников и уже ясно чувствовал основной тон своего вступления.

— И все же, — весело заметил он, обращаясь к Пиеро Мартелло, — приятнее было бы вызвать бурю в этом море.

Они стояли под портиками у углового пилястра, соприкасаясь с шумной единодушной толпой, которая теснилась на Пиацетте, преграждала путь к Часовой башне и бесформенной волной заполняла все свободные пространства галерей, сообщая живую теплоту мрамору колонн и стен и ожесточенно толкаясь в своем непрерывном водовороте.

Временами отдаленный гул становился громче и постепенно расплывался, достигая конца Пиацетты, около них сила его то вырастала до

---

<sup>5</sup> Я не буду говорить для всех, но — для тебя, для себя и для них...

раскатов грома, то замирала в глухом рокоте. Наличники галереи, золотые купола базилики, верхушки украшений Лоджетты, архитравы библиотеки сверкали бесчисленными искрами, а высокая пирамида колокольни среди этой звездной ночи на фоне опьяненной, шумящей толпы казалась мореплавателем, созерцающим среди лагуны свет маяка, под всплески весел, тревожащих сонную воду с отражениями звезд и священный мир обители на островах.

— В такую ночь я хотел бы в первый раз держать в своих объятиях любимую женщину, там за садами близ Лидо, на плавучем ложе, — сказал эротический поэт Парис Эглане — молодой, безбородый блондин с красивыми яркими и чувственными губами, составлявшими контраст с почти ангельской нежностью его лица. — Через час Венеция какому-нибудь любовнику во вкусе Нерона, скрытому под шатром гондолы представит собой зрелище обезумевшего, пылающего города.

Стелио улыбнулся, заметив, до какой степени друзья его были проникнуты духом его поэзии, какой глубокий отпечаток его стиля приобрел их ум. Перед желанием его внезапно возник образ Фоскарины, отравленной искусством, пережившей все оттенки страсти, со следами лет и чувственных наслаждений в углах выразительного рта, с лихорадочными жестами рук, привыкших

выжимать соки искусственных плодов, с отпечатком бесчисленного количества масок на лице, способном воспроизводить все перипетии страсти. В таком виде желание рисовало ему эту женщину, он весь трепетал при мысли, что сейчас она должна предстать перед ним, отделившись от толпы, как от стихии, которой она служила, и во взоре этой женщины он надеялся почерпнуть вдохновение.

— Идем! — решительно обратился он к друзьям. — Пора!

Пушечный выстрел возвестил о выезде королевы из дворца. Трепет, подобный легкому ветерку, предшественнику шквала, пронесся по толпе. С набережной San-Giorgio Maggiore взвилась со свистом ракета, выпрямилась в воздухе, наподобие огненного стебля, бросив вверх шумящий сноп света, потом разрядилась, рассыпалась мигающими искрами и с глухим треском погасла в воде.

Радостными криками народ приветствовал прекрасную царственную женщину, носившую название цветка и жемчужины, и при этих восторженных криках, повторяемых эхом среди мрамора, оживала в воспоминании пышность обетованной земли и триумфальное шествие искусства, следовавшее за новой догарессой во дворец, эти волны радости, сопровождавшие

сверкающую золотом Морозино Гримани до подножия трона, как и все виды искусства, склоняясь перед ней, осыпали ее своими дарами.

— Если королева любит твои произведения, — заметил Франческо де Лизо, — она должна надеть сегодня все свои жемчуга. Перед тобой предстанет несыгораемая купина: все наследственные драгоценности венецианских патрициев.

— Взгляни на подножие лестницы, Стелио, — сказал Даниель Глауро. — Там у прохода тебя дожидается группа фанатиков.

Стелио остановился у фонтана, назначенного Фоскариной, и наклонился к бронзовой решетке, касаясь коленями маленьких кариатид, изображенных на ней, в темном зеркале бассейна дрожали отражения далеких звезд. На несколько мгновений душа его унеслась куда-то, стала глухой к окружающему и, сосредоточившись, отдыхала на этой темной поверхности, откуда неслась легкая свежесть, обнаруживавшая присутствие безмолвной воды. Он почувствовал усталость от непрерывного напряжения, желание быть далеко отсюда, смутную потребность перешагнуть уже это отчаяние предстоящих ночных часов, а в самой глубине своего существа — таинственную душу, подобную этой воде, неподвижную, чуждую, непроницаемую.

— Что ты там видишь? — спросил Пиеро

Мартелло, склоняясь, по примеру Стелио над источенной временем решеткой.

— Лик Истины, — ответил Стелио.

В апартаментах, смежных с залом Большого Совета, обитаемых некогда дожем, а в настоящее время населенных языческими статуями, приобретенными в числе военных трофеев, Стелио ожидал знака церемониймейстера, чтобы появиться на эстраде.

Он спокойно улыбался своим друзьям, но слова их долетали до его слуха подобно порывам ветра. Порой бессознательным движением он приближался к статуе и ошупывал ее вздрагивающей рукой, как бы отыскивая хрупкое место с целью сломать ее, порой склонялся с любопытством над какой-нибудь медалью, будто желая прочесть неразборчивую надпись. Но глаза его ничего не видели: они были обращены в глубь души, туда, где напряженная сила воли создавала таинственные формы речи, которые, благодаря оттенкам голоса, должны были достигнуть совершенства музыки.

Все его существо сосредоточенно стремилось дать яркое изображение овладевшего им необычайного чувства. Если он способен был говорить только о себе и своем собственном мире, то он чувствовал необходимость осветить одной



общей идеей все высшие свойства своего таланта и при помощи образов показать своим ученикам, какая непобедимая сила желаний составляла сущность его жизни. Еще раз он хотел доказать, что для достижения своей высшей цели важнее всего упорное культивирование своего таланта и фантазии.

Склонившись над медалью Пизанелло, он чувствовал, как неистово бились жилы на его висках под наплывом мыслей.

— Вот видишь, Стелио! — заметил ему Даниеле Глауро, с оттенком благоговения в голосе, как будто он говорил о религии. — Видишь, как на тебя действует таинственная сила искусства и как мудрый инстинкт, как раз в тот момент, когда сознание твое готово раскрыться, подводит тебя среди многочисленных форм к самому высшему образцу творчества. В тот момент, когда ты готов уже овладеть своей идеей, взгляд твой приковывается к медали Пизанелло, очарованный ее тождественностью с этой идеей, ты сталкиваешься с одним из оригинальнейших художников мира, с наиболее эллинской душой всего Ренессанса. И внезапный свет озаряет твое чело.

На темной бронзе выступало изображение юноши с прекрасными вьющимися волосами, царственным профилем, аполлоновской шеей:

образец изящества и силы, казалось восторжествовавший над законом разрушения, — подобна вечному произведению художника, заключившего его изображение в эту бронзовую медаль. «Победоносный начальник конницы Малатита, новый властитель Чезены. Произведение живописца Пизано». Рядом была другая медаль работы этого же художника, изображавшая узкогрудую девушку с лебединой шеей, с волосами, собранными сзади наподобие тяжелого мешка, с высоким покатым лбом, как бы предназначенным для ореола святости: сосуд невинности, неприкосновенный, твердый, ясный и прозрачный, как бриллиант, алмазная чаша, хранящая душу подобную Святым Дарам, — Дева Чечилия, дочь Джанфранческо, 1-го маркиза Мантуанского.

— Смотри, — продолжал тонкий ценитель, — смотри, как Пизанелло умел сорвать одинаково искусной рукой и самый прекрасный цветок жизни, и самый чистый цветок смерти. Из той же самой бронзы создан им образ языческого желания и христианского стремления, и оба переданы одинаково совершенно. Не находишь ли ты здесь аналогию со своими произведениями? Когда твоя Персефона срывает с адского дерева спелый гранат, в ее прекрасном, полном вожделения жесте заключается что-то таинственное: срезая кожу плода, чтобы съесть зерно, она бессознательно

следует велению Рока. Тень тайны реет над чувственным поступком. И вот уже ясен истинный характер твоего произведения. Никто не сравнится с тобой в пламенной чувственности, но чувства твои так обострены, что проникают в самую глубь вещей и сталкиваются там с тайной, заставляющей трепетать людей. Твоему зрению доступно совершающееся по ту сторону завесы, на которой жизнь рисует свои страстные образы, вызывающие восторг в твоей душе. И, примиряя в себе все кажущееся непримиримым, утверждая в самом себе оба конца антитезы, ты являешь собой пример совершенной и яркой жизни для своих современников. Вот что ты должен внушить своим слушателям, потому что такого рода признание необходимо для обеспечения будущего торжества твоих идей.

И с искренностью верующего служителя алтаря он мысленно венчал идеальным браком этого гордого Малатесту, самого изящного представителя юношей, с Цецилией Гонзаго, самой целомудренной мантуанской девушкой. Стелио любил доктора за его фанатическую веру, за его глубокое и искреннее признание реальности поэтического мира и, наконец, за то, что в нем он находил сознание, зачастую освящающее его собственные произведения.

— Фоскарина в сопровождении Донателлы

Арвале, — возвестил Франческо де Лизо, наблюдавший толпу, поднимавшуюся по лестнице Цензоров и спешившую в огромный зал.

С этого момента тревога снова овладела Стелио. Будто из бесконечной дали до слуха его доносился гул толпы, сливаясь с биением его сердца, а над всем этим гулом звучали прощальные слова Пердиты.

Шум возрос, потом затих и, наконец, совсем прекратился, когда Стелио твердой, но легкой поступью поднимался по ступеням эстрады. Окинув взглядом публику, он был ослеплен зрелищем страшного тысячеликого чудовища среди золота и пурпура торжественного зала.

Внезапный наплыв гордости помог ему овладеть собой. Он поклонился королеве и донне Андриане Дуодо, приветствовавшим его появление дружескими улыбками, как на Большом канале, в скользящей гондоле.

Зорким взглядом он осмотрел первые ряды кресел, отыскивая Фоскарину, и взор его прошел до самого конца зала, до темного пространства, пестревшего неясными, бледными пятнами. Теперь вся эта затихшая, внимательная толпа внезапно представилась ему огромной тысячеликой Химерой, с телом, покрытым блестящей чешуей, вытянувшимся во всю свою длину под сводами

неба, усеянного звездами.

Этот торс Химеры, сверкавший драгоценностями, некогда переливавшимся огнями под этим же небом на ночных празднествах коронавания, был ослепителен.

Диадема и ожерелье королевы, жемчужины которых казались лучами света и вызывали в памяти чудесный свет ее улыбки, темные изумруды Андрианы Дуодо — добыча Востока, рубины Джустинианы Мемо, оправленные в форме гвоздики, работы незабвенного Vettor Camelio, сапфиры Лукреции Приули, снятые с высоких каблучков, на которых светлейшая Цилия направлялась к трону в день своего коронавания, бериллы Орсетты Конторини, благодаря искусству Silvestro Grifo, изящно переплетенные с матовым золотом, бирюза Зиновии Корнер, однажды приобретшая на влажной груди лузиньянской принцессы, среди объятий Азоле, особый бледный оттенок, сообщенный ей таинственным недугом ее обладательницы, — все знаменитые драгоценности, озарявшие своим сиянием вековые празднества города Анадиомены, приобретали новый блеск на этом торсе Химеры, от которого неслись испарения кожи и дыхания женщин. Покрытое странными пятнами окончание этого бесформенного тела, вытягивалось в глубь зала, в виде хвоста, проходящего между двумя гигантскими

изображениями земных полушарий, напоминавших поэту аллегорическую статую Giambellino — чудовища с завязанными глазами, сжимающего в своих львиных лапах два бронзовых полушария. Это необъятное тупое животное лицом к лицу с поэтом, усиленно напрягавшим свой ум, одаренное чарами загадочного идола, прикрывающееся щитом своего безмолвия, способным принимать и отражать удары, напряженно ожидало начала торжественной речи.

Стелио вслушивался в тишину, среди которой должен был раздаться первый звук его голоса. В этот момент, когда первое слово уже готово было сорваться с его уст, благодаря усилиям воли, победившей невольное смущение, он увидел Фоскарину, стоящую у рампы, окружающей изображение небесной планеты. Необычайно бледное лицо трагической актрисы, ее шея, лишенная всяких украшений, и чистота линий обнаженных плеч вырисовывались в орбите зодиакальных знаков.

Стелио был восхищен художественностью ее появления. Устремив взор в эти обожаемые глаза, он начал говорить медленно, как бы прислушиваясь к ритмичному всплеску весел, раздававшемуся в его ушах:

— Сегодня после полудня, возвращаясь из Садов по знойной набережной Невольников, где

кочующей душе поэта чудится волшебный золотой мост, перекинутый через море света и безмолвия к вечной грезе красоты, — я мысленно присутствовал на брачном пире Венеции с Осенью, под сводом неба.

Повсюду был рассеян дух жизни, сотканной из страстных ожиданий и скрытого огня, это приводило меня в восторг, но не казалось новым: подобное же настроение мне приходилось испытывать перед сумерками среди мертвой неподвижности воздуха в разгаре лета. Тот же дух жизни в иные моменты трепещет над таинственной поверхностью вод. Значит, я не ошибся, думалось мне, что этот дивный город искусства продолжает стремиться к вечной красоте, возвращающейся к нему ежегодно, как возвращается к лесу его пышная зелень. Он жаждет полной гармонии, будто непрерывно — могучая и страстная — в нем таится жажда совершенства, создавшая из него в продолжение веков дивное произведение искусства. В неподвижном зное лета Венеция, мертвая среди своих зеленых поясов, казалось, не трепещет, не дышит более. Но мое внутреннее бессознательное чувство не обмануло меня, и я догадался, что тайно она находится во власти духа жизни, способного повторить величайшие античные чудеса.

Вот что я думал и что я видел. Но как я передал слушателям эти видения красоты и

радости? Никакая заря, никакой закат не сравнится с этим часом огненного света, на мраморе и водах. Неожиданное появление любимой женщины среди весеннего убранства леса не так упоительно, как послеполуденное откровение героического и страстного города, затаившего в своих мраморных объятиях самый роскошный сон латинской души.

Голос оратора звонкий, отчетливый, но несколько холодный вначале, вдруг загорелся внутренним вдохновением, вспыхнувшим вместе с импровизацией, и вполне приспособился к требованиям акустики.

Слова его струились теперь неудержимым потоком, и ритмические очертания периодов замыкались наподобие фигуры, нарисованной одним штрихом смелой руки, а под волнами речи чувствовалась вся напряженность мысли поэта, это увлекало слушателей, как увлекает ужасное зрелище в цирке, когда геркулесовская сила атлета проявляется в напряженном сокращении мышц и вздувающейся ткани артерий.

Они чувствовали всю прелесть жизни, огня и непосредственности его импровизации, и восторг их еще увеличивался: от этого неутомимого искателя совершенства стили ожидали лишь тщательно и добросовестно составленной речи. Его почитатели волновались, чувствуя в этом рискованную попытку обнаружить таинственный



процесс творчества, доставлявшего им такое глубокое наслаждение. Их волнение заражало других, разрасталось до бесконечности и, наконец, захватив всю аудиторию, отразилось на самом поэте. Поэт, казалось, смутился.

Предвиденная опасность наступила. Под наплывом слишком широкой волны оратор покачнулся. На мгновение непроницаемый мрак окутал его сознание, свет мысли погас, как факел от порыва ветра, глаза, как перед обмороком, заволокло туманом. Но он сразу понял, каким позором угрожало ему это внезапное затмение: воля его мгновенно высекла из сознания, как из огнива, новую искру.

Взглядом и жестом он направил внимание толпы на лучезарный шедевр, струивший свой свет с потолка зала.

— Я уверен, — воскликнул он, — что в этом образе торжествующей Победы являлась Венеция душе Веронезе!

И он начал объяснять, почему гениальный художник, разбросавший щедрой рукой на полотне золото, пурпур, шелк, драгоценности, горностаи — всю пышность и великолепие красок, не мог изобразить дивное лицо иначе, как в тени.

— За одну эту тень Веронезе достоин своей славы! В этом человеческом облике, изображающем победоносную Венецию, он уловил

сущность ее духа, символом которого является пламя, скрытое под пеленою вод. И погрузивший свою душу в эту сферу стихий извлечет ее оттуда обновленной и будет ковать и свои произведения, и жизнь более трепетными руками.

Не он ли сам был этим человеком? В этом утверждении своей личности он снова приобрел всю свою уверенность и почувствовал, что с этого момента он снова стал господином своей мысли и слова, вне всякой опасности, способный увлечь в сферу своей фантазии огромную, тысячеглазую, покрытую сверкающей чешуей Химеру, коварное, легкомысленное чудовище, из недр которого выделялась женская фигура с головой Трагической Музы на фоне созвездий.

Послушные его жесту взоры толпы устремились к Апофеозу: расширенные зрачки с изумлением рассматривали это чудо искусства, как будто видели его впервые или открывая в нем то, чего не замечали прежде. Обнаженное тело женщины в золотом шлеме сверкало среди облаков, поражая силой своих мускулов и маня к себе, как живое. И от этой наготы более жизненной, чем все остальное, — восторжествовавшей над самим временем, заставившим потускнеть героические изображения осад и сражений, — казалось, несло очарование страсти, усиливающееся дыханием осенней ночи, врывающимся через открытые

балконы. А оттуда сверху, опершись на балюстраду между двух витых колонн, сонм принцесс склонял возбужденные лица и пышные бюсты к своим младшим сестрам. В упоении поэт продолжал бросать свои окрыленные периоды, подобные лирическим строфам.

Он рисовал Венецию, пылающую страстью, изнывающую в тоске, среди тысячи зеленых поясов, и простирающую свои мраморные объятия дикой Осени с ее влажным дыханием, насыщенным чудным ароматом умирающей зелени островов. Он заставлял ее трепетать, как любовницу, в ожидании часа наслаждений. Он вызывал образы вещей, иллюстрируя их красноречивыми символами, при помощи искусства вдыхая в них жизнь. Он превозносил значение ритма, способствующего согласованию формы с содержанием. И под обаянием его слов, казалось, Венеция обладает волшебной способностью создавать свет и тени, неподражаемую ткань окутывающих ее иллюзий.

— И так как в мире существует лишь одна истина — поэзия, то только тот, кто обладает способностью ее улавливать и воспринимать, — близок к тайне победы над жизнью.

Произнеся эти последние слова, он искал встречи с глазами Даниеле Глауро и увидел их сверкающими счастьем из-под широкого, вдумчивого лба, где, казалось, теснился целый рой

невысказанных мыслей. Мистический доктор стоял у эстрады, среди группы неведомых учеников, которых он изобразил поэту жаждущими и тревожными, полными веры и ожиданий, нетерпеливо рвущимися разбить цепи повседневного рабства и познать свободу упоения радостью и страданием. Стелио видел их тесный кружок, подобный ядру сгруппировавшихся сил, расположившийся там у красноватых шкафов, где покоились бесчисленные тома погребенной, забытой и неподвижной мудрости. Он различал их оживленные, внимательные лица, обрамленные длинными волосами, их полуоткрытые в ребяческом изумлении или сжатые чувственные губы, их светлые или темные глаза, в которых музыка слов — подобно изменчивому ветерку, проносящемуся над клумбой нежных цветов, — создавала внезапные эффекты смены тени и света. Он почувствовал, что держит в своих руках эти души, слившиеся воедино, и что эту единую душу, сообразно со своим капризом, он может и взволновать, и сдавить в своем кулаке, и растерзать, как легкую ткань.

В то время, как ум его то напрягался с необычайной силой, то отдыхал от непрерывного метания стрел, Стелио не переставал сохранять удивительно тонкую способность наблюдения, и мысль его становилась все более проницательной и

яркой, по мере воспламенения его красноречия. Он чувствовал, как напряжение его становится все менее и менее ощутимо, а воля опережается какой-то силой, свободной и загадочной, подобной инстинкту, возникающей из глубины его души и действующей сокровенными, не поддающимися проверке путями. По аналогии ему вспомнились некоторые необычайные моменты в тиши бессонных часов, когда он писал свои бессмертные произведения, представлявшиеся ему впоследствии не результатом работы его мозга, но продиктованными каким-то властным божеством, которому рука его повиновалась, как слепое орудие. Почти то же изумление испытал он сейчас, когда его слуха коснулась неожиданная каденция звуков, слетевших с его уст. Среди общения его души с душой этой толпы произошло почти чудо. К его обычному представлению о своей личности присоединилось нечто более великое, более могущественное, и ему казалось, что с каждой минутой голос его приобретает все большую силу. Внезапно он почувствовал, как в душе его созрел идеально совершенный образ, и он пытался воспроизвести его на языке поэзии, на языке двух художников-колористов, царивших здесь, — с красочностью Веронезе и страстностью Тинторетто.

Вся живучесть и все вариации античного

мрамора, проникнутого тайной и величием, все смены созидания и разрушения, все мимолетности отражения, все зарницы светлой радости, трепещущей на крестах церковных куполов, раздувшихся от молитв, — радости, сверкающей даже в кристаллах соли, висящих над арками мостов, и образ Супруга, склонившегося со своей огненной колесницы к прекрасной Венеции, и губы этого бессмертного облика, полные лесного шепота и безмолвия, его страсть, полная неги и вместе с тем жестокости, являющаяся контрастом с этим глубоким, вдумчивым взглядом, бурная кровь, клокочущая во всех членах его тела до самых пальцев подвижных ног; это пылающее золото, этот пурпур, которые он влачил за собой, — все пронеслось, все сверкало в голосе поэта. Какой страстью звучал он, говоря о Венеции, среди тысячи своих зеленых поясов и несметных ожерелий отдающейся чудному Богу!

Увлеченная пламенем речи душа толпы, казалось, всколыхнулась и поднялась до недоступной прежде вершины красоты. Художественность обстановки способствовала вдохновенной импровизации поэта, она, казалось, воспринимала и продолжала ритмы красоты и силы произведений, украшавших стены этого здания, и являлась идеальной формой творчества, совершающегося в увековечивающей его

атмосфере. Вот почему слова его дышали таким вдохновением, жест так свободно завершал контуры образов, и сам звук голоса дополнял содержание... Здесь было не только обычное явление электрического контакта энергии оратора и аудитории: здесь чувствовалось очарование, сообщаемое стенами этого чудного здания, в соприкосновении с трепетной массой людей приобретающее необычайную силу. Возбуждение толпы и голос поэта, казалось, возвращали вековым камням их первобытную жизнь и воскрешали значение холодного музея, — этого ядра могучих идей, конкретизированных и вложенных в самые долговечные формы, свидетельствующие о благородстве расы.

Очарование неувядаемой юности спускалось над женщинами, подобно завесам пышного алькова: они почувствовали в душе тревогу ожидания и стремление к наслаждениям любви вместе к прекрасной Венеции. Они улыбались, переполненные негой, сверкая белизной обнаженных плеч, выступавших из гирлянд драгоценных камней. И изумруды Андрианы Дуодо, рубины Джустиньяны Мемо, сапфиры Лукреции Приули, бериллы Орсетты Канторини, бирюза Зиновии Корнер — все эти наследственные сокровища, в блеске которых сквозило нечто большее, чем их ценность, как за роскошным

убранством залы — нечто большее, чем искусство, бросали на бледные лица патрицианок отблеск бывшего веселья, пробуждая в них душу сладострастных женщин, отдававших в жертву любви свои умащенные миррой, мускусом и амброй тела и выставлявших напоказ набеленные груди.

Стелио, смотря на этот женский торс громадной Химеры, над которым мягко колыхались перья вееров, чувствовал, что мыслями его овладевает чересчур сильное опьянение, и это смущало его. Широкая волна, несущаяся от него самого, отражалась в нем же, с удвоенной силой проникая до самых недр его существа, и заставляла его утрачивать обычное равновесие. Ему казалось, что он качается над толпой в виде резонатора, где самые разнообразные отзвуки создавались под влиянием какой-то таинственной и непобедимой воли. Среди пауз он тревожно ждал веления этой воли, тогда как в нем продолжало звучать как будто эхо неведомого голоса, произносившего слова совершенно новых дотоле мыслей. И это небо, вода, камни и осень, изображаемые им в таких красках, представлялись ему неимеющими ничего общего с его собственными недавними переживаниями, а принадлежащими к сфере грез, появлявшихся перед ним теперь во внезапной смене почти непрерывно следовавших друг за другом вспышек молнии. Он был изумлен появлением этой незнакомой ему



силы, переполнявшей его, стиравшей границы его индивидуальности и придававшей его одинокому голосу полноту хора. Таково было таинственное откровение Красоты, явившееся праздничным отдыхом для будничной жизни толпы, такова была таинственная воля, овладевшая поэтом в тот момент, когда он отвечал на вопрос коллективной души о ценности жизни и на ее попытку хоть однажды подняться до высоты вечной Идеи. В этот момент он был только вестником красоты и предлагал собравшимся вместе, освященном веками человеческого величия, Божественный дар забвения. Ритмом своего голоса он передавал слушателям образный язык благородных работников прошлого, что в этом самом месте выражали мечты и стремления расы. И в продолжение часа люди получили возможность созерцать мир иными глазами, думать и мечтать вместе с другой душой.

Теперь мысль его неслась за пределы этих стен с трепещущей массой людей, в какой-то героический цикл красных трирем, укрепленных башен и торжественных процессий. Этот зал казался ему слишком тесным, чтобы вместить это новое необъятное ощущение, и снова его потянуло к настоящей толпе, к несметной, воодушевленной одним чувством толпе, еще недавно теснившейся на пристани и своими криками, — опьяняющими, как

вино или кровь, — пронизывавшей звездную ночь.

И не только к этой толпе, но к бесчисленным толпам людей устремлялась теперь его мысль, они рисовались его воображению — спешившие в обширные театры, подчиненные одной идее Истины и Красоты, бледные и внимательные, перед громадной аркой сцены, открывавшей чудесное изображение жизни, или же неистовствовавшие перед зрелищем Красоты, выливавшейся в бессмертном слове. И мечта о более высоком Искусстве, снова возникнув в его душе, рисовала ему этих людей, чтивших в поэте единого властелина, обладателя силы прерывать на время человеческую тоску, утолять жажду, давать забвение. И теперь предстоящая задача казалась ему чрезвычайно легкой: ум его, возбужденный вдохновением толпы, способен был создавать гигантские образы. В душе его внезапно дрогнуло гордым трепетом жизни только зревшее, но еще бесформенное создание, и глаза его устремились к группе созвездий, ища трагическую актрису — Музу откровения, сосредоточенную и молчаливую, в складках своей одежды несущую ему восторги далекой толпы. Почти изнеможенный невероятной интенсивностью пережитого во время этой паузы, он заговорил более тихим голосом. Речь его теперь была проникнута мягкой звучностью осени, изображенной художниками прошлого прекрасной

Венеции. Он говорил о расцвете искусства в период между молодостью Джиорджионе и увяданием Тинторетто, изображая этот период облеченным в пурпур и золото, роскошным и чарующим, как пышная флора земли в последних лучах солнца.

— Созерцая этих великих художников — жрецов красоты, — я вспоминаю отрывок из Пиндара: «Когда кентавры познали силу вина, сладкого как мед и опьяняющего сознание, они сейчас же сбросили со столов кувшины с молоком и поспешили упиться вином из серебряных рогов...» Никто на свете, до этих художников, не вкушал всей сладости вина жизни. Они извлекали из него божественное опьянение, увеличившее их силу и сообщавшее их красноречию плодотворную энергию. В лучших произведениях этих художников неистовое пульсирование жизни продолжалось на протяжении веков, как ритм венецианского искусства.

Ах, в каком чистом поэтическом сне покоится девственница Урсула на своем непорочном ложе! Безмятежная тишина напоминает одинокую комнату, где благоговейно сложенные уста спящей говорят лишь о молитве. В раскрытые двери и окна проникает робкий свет зари, освещая буквы, начертанные на уголке подушки: *Infantia* Простое слово, распространяющее вокруг девственного чела свежесть утра: *Infantia* Она спит, эта девственница

— невеста языческого принца, предназначенная для мученичества. Целомудренная, наивная и благочестивая, не является ли она символом Искусства, каким оно рисовалось предшественникам этих художников с искренней и наивной душой? *Infantia* Это слово на углу ее подушки вызывает воспоминание о незабвенных именах: *Lorenzo Veneziano, Simone da Cusighe, Catarino, Yaccobello, Maestro Paolo, Giambono, Semitecolo, Antonio, Andrea, Quiriso da Aurano* — всей этой трудолюбивой семье, приготовившей краски для тех, кто мог соперничать в яркости с огнем. Но не испустили ли бы крика восторга даже они при виде крови девственницы Урсулы, струившейся из ран, нанесенных ей прекрасным языческим стрелком? Этой алой крови тела, вскормленного молоком! Убийство походило на праздник: самое красивое оружие, самые богатые одежды, самые изящные позы стрелков. Этот юноша с золотистыми волосами, с таким гордым красивым жестом пронзающий стрелой тело мученицы, не походит ли он на юного, бескрылого переодетого Эроса?

Этот прелестный убийца невинности (или подобный ему) бросит свой лук и завтра же отдастся очарованию музыки, навевающей бесконечные грезы страсти.

Это душа *Джорджоне*, загорающаяся

неукротимым огнем желаний. Его музыка уже не походит на ту мелодию, что не дальше как вчера, сорвавшись с примитивных струн лютни, проносилась под сводами храма в видениях Беллини третьего. Она продолжает еще звучать с клавикорд, при прикосновении рук молящихся, но мир, пробуждаемый ею, уже полон страдания и радости, таящих в себе грех.

Кто смотрел на «*Concerto*» вдумчивыми глазами, тот поймет необычайный и невозвратный момент пробуждения венецианской души. Гармонией красок — экспрессивная сила которой не имеет границ, как и тайна звуков — художник рассказывает о первом смущении страстной души, когда жизнь внезапно предстает перед ней в виде несметной добычи.

Монах, сидящий за клавикордами, и его более старый товарищ не похожи на тех, что изображены на картине *Vettore Carpaccio* в *San-Giorgio-degli-Schiavoni* бегущими от зверя, прирученного св. Иеремией. Их души более сильны и благородны, атмосфера их жизни богаче и благоприятнее для зарождения великой радости, печали или мечты. Какие звуки извлекают эти прекрасные чуткие пальцы, задерживаясь на клавишах? Волшебные, без сомнения, потому что они обладают силой так преобразовать музыканта. Он достиг уже середины человеческого возраста,

далекий от юности, приближающийся к склону лет. И вот только тут открывается перед ним жизнь, богатая благами, будто целый лес деревьев, осыпанных зрелыми плодами, но их свежего бархата доселе не касались руки, простертые к небу. Чувственность его спит, и он не падет жертвой манящего призрака, он лишь страдает от смутной тоски, где сожаление преобладает над желанием, и в гармоничных аккордах его импровизации «видения далекого прошлого — каким оно могло быть и каким не было — встают в виде неясных образов». Его товарищ догадывается об этой внутренней тоске, он уже почти старик, он обрел мир, серьезный и мягкий он положил руку на плечо музыканта, как бы желая его успокоить. А тут же рядом, в горячей тени, будто само олицетворение страсти, вырисовывается фигура юноши с длинными волосами, в шляпе, украшенной белыми перьями: пламенный цветок юности, созданный Джиорджионе под впечатлением эллинского мифа, породившего идеальный образ юноши-гермафродита. Этот юноша с ними, но он чужд им, как существо, всецело стремящееся к личному счастью. Музыка лишь возбуждает его смутные грезы, и под влиянием ее, по-видимому, в нем растет страсть к наслаждениям. Он сознает себя господином этой жизни наряду с двумя неудачниками, и гармоничные аккорды являются

для него лишь прелюдией его собственного праздника. Взор его, загадочный и упорный, обращен к одной определенной точке, как бы с целью притянуть к себе нечто манящее его, сжатые губы как бы уже пресытились лишь предвкушением поцелуев, могучий лоб создан для самого пышного венка. А когда я думаю о его руках, не показанных на картине, то они мне представляются растирающими лист лавра, чтобы пропитать пальцы его ароматом.

Руки поэта воспроизвели этот жест, полный сладострастия, как будто действительно он хотел пропитать их соком душистого листа, а выражение его лица придало нарисованному им образу такую рельефность, что все молодые люди увидели в нем воплощение своих тайных желаний и назойливых грез. Смущенные, они чувствовали скрытое волнение сдерживаемой страсти и предвкушали новые возможности, считая уже несомненной добычу, еще так недавно казавшуюся далекой, недостижимой. То здесь, то там, на всем протяжении зала Стелио различал их у больших красноватых шкафов, с бесчисленными томами потребной, забытой и неподвижной мудрости. Они стояли, занимая свободные пространства галереи, как живой бордюр, образуя собой границу этой компактной массы, и, подобно тому, как в развевающемся по ветру знамени сильнее трепещут

его края, так трепетали они под дуновением поэзии.

Стелио узнавал их: иных по своеобразным позам, иных по чрезмерному волнению, обнаруживавшемуся в линиях губ, иных по трепету век или горящим щекам. На лице одного, повернувшегося к открытому балкону, он угадывал восхищение осенней ночью и прелестью легкого ветерка, поднимавшегося с лагуны. Луч любви, светившийся во взоре другого, указывал Стелио на женщину, сидящую в глубоком раздумье и как бы изнемогающую в безмолвном наслаждении, чувственно томную, с белоснежным лицом и полураскрытыми губами, похожими на ячейку сот, влажную от меда.

Поэт чувствовал необычайную ясность сознания, позволявшую ему видеть окружающее в ярких красках лихорадочных галлюцинаций. Все в его глазах жило повышенной жизнью, лица дожей на портретах, висевших по стенам зала в светлых завитках рам, были так же реальны, как там в глубине зала лица лысых стариков, одним и тем же жестом все время вытиравших свои бледные, влажные лбы. Ничто не ускользало от его внимания: ни непрерывные слезы свеч, вставленных в маленькие бронзовые корзиночки, собиравшие желтый воск, будто амбру, ни необычайное изящество унизанной кольцами руки, прижимавшей платок к скорбным губам, как бы



желая успокоить горящую рану, ни воздушный шарф, развевающийся на обнаженных плечах, вздрагивающих от ночного ветерка, несущегося через открытые балконы. Но, замечая все эти бесчисленные, мимолетные подробности, взгляд его сохранял общий облик огромной, тысячеглазой химеры с грудью, покрытой сверкающей чешуей, и трагическую Музу, с головой, выступающей на фоне звездного неба.

Каждую минуту взор его обращался к женщине-избраннице, представшей его глазам у ворот звездного царства. Он внутренне благодарил Фоскарину за художественный способ ее появления в тот момент, когда он впервые выступил перед толпой. В это мгновение он видел в ней не возлюбленную с телом, спаленным зноем страстей, несущую ему неведомые дотоле наслаждения, а чудное орудие нового искусства, вестницу великой поэзии будущего, воплощающую в своем изменчивом образе идеальные создания красоты, а в своем голосе — новое слово, ожидаемое народом. Теперь его влекла к ней не страсть, а жажда славы. И бесформенное произведение, зревшее в его душе, снова дрогнуло трепетом жизни.

Речь его пылала вдохновением. Он рисовал слушателям торжествующую Венецию, разукрашенную как для брачного пира, и весь блеск сокровищ, накопленных веками завоеваний и

торговли, и дочь San-Marco, Domina Aceli, несущую пояс Афродиты, найденный ею в миртовом лесу на Кипре.

Внезапное появление среди этого пира юноши в шляпе, украшенной белыми перьями, в сопровождении необузданной свиты, вызвало взрыв всеобщего восторга, похожего на вспышку пламени факела, разгоревшегося под дуновением вихря.

— Таково было начало этой эпохи дивной осени искусства, которую до тех пор будут оплакивать люди, пока в них сохранится стремление возвышаться над узостью обыденного существования, и желание жить более яркой жизнью, а умирать более прекрасной смертью.

И дух Джорджиионе парит над этим праздником, окутанным таинственным облаком пламени. Он кажется мне какой-то мифической личностью. Судьба его непохожа на судьбу ни одного поэта на земле. Вся жизнь его покрыта тайной, некоторые даже отрицают само его существование. Нет ни одного произведения, подписанного его именем, и многие отказываются приписать ему какой бы то ни было шедевр. И однако все венецианское искусство развилось лишь благодаря его гению, у него Тициан заимствовал огонь своего творчества. Поистине, все произведения Джорджиионе представляют из себя апофеоз огня.

Он вполне заслуживает прозвище «Носителя огня», подобно Прометею.

Всматриваясь в стремительность, с какой этот священный огонь переносился от одного художника к другому, от одной школы к другой, разгораясь все ярче и ярче, я представляю себе процессии светоносцев, устраиваемые эллинами в честь Титана, сына Ианета. В день этого праздника группа юных афинских всадников отправлялась из Керамики в Колону, а предводитель их размахивал в воздухе факелом, зажженным у храма. Если факел потухал от стремительности скачки, то носитель передавал его товарищу, зажигавшему его вновь на всем скаку, этот — третьему, третий — четвертому, и так поочередно он переходил из рук в руки, до последнего, который слагал его горящим в храме Прометея. Для меня это символ эпохи венецианских художников-колористов. Каждый из них, даже наименее талантливый, хоть на мгновение держал в своих руках священный факел. Нетленными руками Бонифачио был сорван этот таинственный цветок огня.

Пальцы молодого человека сорвали в воздухе воображаемый цветок, и взгляд его устремился в небесную сферу, как бы безмолвно прося принять этот огненный дар ту, что пасла небесное стадо звезд: «Тебе, Пердита!» Но женщина в это время, повернув голову, улыбалась кому-то, стоявшему

вдали.

Следя за направлением ее улыбки, взгляд его остановился на фигуре незнакомки, засветившейся на фоне мрака.

Уж не была ли то певица, имя которой прозвучало среди сумерек у борта крейсера?

Не олицетворение ли то образа, родившегося из призрака внезапного смущения, овладевшего им в тени пароходного борта и создавшего в его душе какой-то уединенный уголок, наполненный неясным чувством. В течение секунды он находился под обаянием ее красоты, подобной красоте невысказанных мыслей.

— Большинству людей, — продолжал поэт, пользуясь нарастающим вдохновением, — дивный город, которому эти художники создали такую великую душу, представляется не более как громадным неподвижным ковчегом, наполненным реликвиями, или убежищем мира и забвения!

Свой яркий бред, всю пылкость своих желаний и честолюбия, все о чем он говорил своей подруге в тихо скользившей по морю гондоле, воплощал он теперь перед слушателями в образы жажды счастья и ужаса перед грозящей опасностью. Разве он сам не поспешил бы броситься в воду, если бы случайно на дне ее заметил старинную диадему или шпагу? Разве не испытывал он в этом странном городе с его

обманчивой бесконечностью ощущения человека, отдыхавшего на груди возлюбленной, прижимая ее пальцы к своим усталым глазам, и внезапно заслышавшего змеиное шипение среди шелка ее волос?

— Ах, где я найду краски, чтобы передать, какой дивной жизнью трепещет Венеция, среди тысячи своих зеленых поясов и драгоценных ожерелий! Не проходит дня, чтобы она не поглощала всю нашу душу, то возвращая ее нам нетронутой, свежей и новой, возродившейся, готовой к восприятию самых ярких впечатлений, то бесконечно утонченной, хищной, похожей на пламя, сжигающее все на своем пути, но среди этих руин и пепла находятся порой и дивные слитки золота. Каждый день призывает нас к действию, являющемуся сущностью человеческой природы: к непрерывному напряжению, для достижения совершенства, она показывает нам возможность превращения страдания в самую деятельную энергию жизни, она учит нас, что наслаждение — это самый верный путь к познанию, указанный нам самой природой, и что человек, много выстрадавший, менее мудр, чем много наслаждавшийся.

Последнее положение показалось чересчур смелым, и смутный ропот порицания пробежал по аудитории, королева отрицательно покачала

головой, некоторые дамы обменялись взглядами, выразившими кокетливый ужас. Но все это исчезло за громом юношеских восторгов, с самой откровенной дерзостью приветствовавших рукоплесканиями поэта, учившего достижению совершенных форм жизни путем наслаждения.

Стелио улыбался, узнавая по ним количество своих учеников, он улыбался, сознавая продуктивность своих уроков, рассеявших уже во многих умах облако бездейственной печали, поселивших сознание ненужности слез и вызвавших презрение к сентиментальной грусти и вялому состраданию. Он радовался торжеству принципа своей доктрины, естественно вытекающей из духа прославляемого им искусства. Он хотел обратиться теперь ко всем ушедшим в уединение, чтобы поклоняться печальному призраку, сохранившему признаки жизни лишь в потускневшем зеркале их собственных глаз, и к тем, кто, удалившись в монастыри, с незапамятных времен ожидают откровения свыше, и к тем, кто среди развалин создали себе образ Красоты, оказавшийся источенным временем сфинксом, терзающим своими бесконечными загадками, и к тем, кто каждый вечер садится у порога своих жилищ, ожидая таинственного Пришельца, несущего дары, и бледные от волнения, припадают ухом к земле, в надежде услышать его

приближающиеся шаги, ко всем тем, что изнемогали под бременем безропотной скорби или неудовлетворенного тщеславия, кого ожесточили бесплодные стремления или лишила сна изменчивая надежда, всех этих людей он хотел теперь заставить излить свое горе под обаянием красоты древней и вечно новой души.

— Несомненно, — продолжал он восторженно, — если бы даже все население, покинув свои жилища, вздумало бы переселиться, привлекаемое чужеземными берегами, как некогда при дожде Пието Циани — Босфорской бухтой, если бы молитвы перестали будить звонкое эхо мозаик, а всплески весел вековечное раздумье немого камня, то и тогда Венеция по-прежнему осталась бы Городом Жизни. Идеальные произведения искусства, таящиеся под покровом ее безмолвия, живут в ее прошлом и будущем. В них мы открываем вечно новые созвучия с Вселенной, неожиданные символы идей современности, яркое освещение наших смутных предчувствий, определенный ответ на вопросы, которых мы еще не осмеливаемся задавать.

Он перечислял все виды этих произведений и их разнообразные значения, он сравнивал их с морями, реками, лугами, лесами и скалами. Он прославлял их творцов, «эти глубокие натуры, не подозревающие всей громадности того, что они

дают, связанные с жизнью тысячами корней, подобные не отдельным деревьям, а дремучим лесам. Продолжая дело Божественной матери-Природы, ум их превращался in una similitudine di mente divina,<sup>6</sup> по словам Леонардо. Творческая сила непрерывно прилиwała к их рукам как растительные соки к почкам деревьев, и люди эти творили в наслаждении».

Вся страстность неутомимого художника, стремящегося на вершины Олимпа, зависть, испытываемая им по отношению к этим не знающим отдыха и сомнений гигантам-служителям Красоты, его неутомимая жажда счастья и славы — все сквозило в голосе поэта, когда он произносил свои последние слова. Уже снова душа толпы, внимательная, напряженная и вибрирующая подобно инструменту, состоящему из бесчисленных струн, была во власти поэта, и каждый оттенок его голоса рождал в ней бесконечные отклики: пробуждалась смутная жажда былых исканий истины, неожиданно открывшейся вдохновенным творчеством поэта. Теперь толпа уже не чувствовала себя чужой в этом здании, где одна из самых ярких человеческих судеб оставила такие глубокие следы. Вокруг себя и

---

<sup>6</sup> В подобие Божественного разума



под своими ногами, до самого фундамента она чувствовала жизнь всего этого дворца, пережившего столетия, воспоминания о которых не покоились неподвижно среди мрака его прошлого, а кружились повсюду, подобно вольному вихрю, разбушевававшемуся в лесу. В этот миг волшебного вдохновения, дарованного ей могуществом поэзии и мечты, она, казалось, вновь почувствовала в себе неизгладимые свойства расы, смутное пробуждение души своих доблестных предков, и признала за собой право на наследие далеких времен, чуть было не погибшего для нее: наследия, объявленного теперь поэтом нетронутым и возвращенным. Она испытывала тревожное состояние человека, собирающегося вновь вступить во владение утраченным сокровищем. А ночь, глядевшая в открытые балконы, тем временем как багровое зарево пожара готовилось осветить бассейн, казалось, вся была насыщена ожиданием этого возвращения, обещанного Роком.

В чуткой тишине одинокий голос достиг своего апогея:

— Творить с восторгом! Восторг — достояние Божества! Нет более торжественного акта на вершинах духа. Само слово, обозначающее его, сверкает отблеском зари.

Душа толпы дрогнула будто при первых звуках гимна.

Прославляя великих художников, поэт воспевал и благородство расы, лишь временно пришедшей в упадок. Как Бонифачио первый в «Притче о богатом и Лазаре», он закончил пламенной нотой свою последнюю строфу. Как Тинторетто в «Венчании Ариадны» он сплел гирлянду из звезд, венчая Венецию и Осень такими, как они вставали в его мечте. Напоминая об этих шедеврах, он не желал считаться с мнением какого-нибудь белокурого господина, пришедшего слушать концерт в обществе двух куртизанок с лоснящимися лицами или тронуть сердце юноши, предлагающего кольцо невесте, склонившейся над волнами моря, но для того, чтобы за этими линиями, в глубоких созвучиях красок, найти предчувствие славного будущего Венеции.

— Неужели нам не суждено в один прекрасный вечер среди таинственной тишины сумерек снова увидеть галеру с трепетными знаменами, причаливающую к Дворцу дождей?

Он видел эту галеру на далеком пророческом горизонте, скользящую по итальянскому морю, куда Красота спустилась еще раз, чтобы увенчать звездной короной город Анадиамены.

— Смотрите, вот он, этот корабль! Не несет ли он весть богов? Смотрите, вот эта символическая Женщина! В ее недрах не покоится ли зародыш нового мира?

Гром рукоплесканий заглушил восторженные крики юношей, подобно урагану устремившихся к тому, кто зажег такую огромную надежду в этих горящих глазах, к тому, кто с таким ясновидением высказал веру в таинственный гений расы, в возрастающую силу духа — наследие отцов, в величие ума, в неистребимое стремление к Красоте, во все высшие ее способности, отрицаемые современным варварством. Ученики в порыве любви и благодарности за яркий светоч, зажженный в их сердцах, простирали руки к своему учителю. В каждом из них под влиянием Джиорджионе оживал образ юноши в шляпе, украшенной пушистыми белыми перьями, приближающегося к богатой добыче, и в каждом из них жажда наслаждений, казалось, возросла до бесконечности.

В криках молодежи выливалась такая буря переживаний, что поэт, вызвавший ее, затрепетал и в глубине души почувствовал грусть при мысли о близком пепле этого мимолетного огня, при мысли об их мучительном пробуждении завтра.

Какая сила сокрушит завтра же эту бешеную жажду жизни, это горячее стремление окрылить свой жребий победоносной грезой, слить все элементы своего я для достижения высшей цели?

Ночь покровительствовала юному бреду. Все честолубивые замыслы, вся жажда любви и славы, сначала взлелеянные, потом усыпленные

мраморными объятиями Венеции, восставая из недр дворца, неслись через открытые балконы, трепетали, подобно сонму воскресших призраков, под тяжелым сводом южного неба, за стенами высоких башен.

По воле поэта в воображении опьяненной толпы снова оживала и трепетала та сила, что под этим темным сводом за высокими стенами башен наполняла собой мускулы богов, героев и царей, Красоту, изливающуюся, подобно музыке от божественной наготы богинь, цариц и куртизанок — оживала вся мощь и совершенство форм, претворенные им в общую гармонию. Одобрение опьяненной толпы вылилось в оглушительном громе рукоплесканий и восторженных криках по адресу того, кто поднес к ее жаждущим устам кубок крепкого вина. Все присутствовавшие видели неугасимый огонь под пеленой вод. Иные растирали пальцами лист лавра, иные готовы были броситься на темное дно канала за старинной шпагой или диадемой.

Стелио Эффрена очутился теперь один среди статуй, под сводами соседнего музея, он чувствовал потребность в полном одиночестве, чтобы сосредоточиться и побороть непонятное волнующее ощущение, среди которого ему казалось, что все существо его растворяется и рассеивается в душе толпы. От только что произнесенных слов не

осталось следов в памяти, от только что пронесшихся видений — ни малейшего впечатления. Один образ всецело овладел им, это был огненный цветок, порожденный его фантазией в честь Бонифачио Иаго и сорванный нетленной рукой его гения для женщины-избранницы. Он видел снова, как в минуту этого неожиданного дара женщина отвернулась и вместо блуждающего взгляда на лице ее засияла приветливая улыбка. Тогда волны опьянения, готовые было уже рассеяться, нахлынули с новой силой, и появился туманный образ певицы, ему казалось, что она держит в своих руках огненный цветок, царственная и властная, стараясь побороть душевный трепет, похожий на трепет летнего моря. Как бы приветствуя это видение, из зала Большого Совета донеслись до его слуха первые звуки симфонии Марчелло, начальной фугой свидетельствующей о своем классическом стиле. Звучная, отчетливая и мощная мелодия, постепенно нарастая, воплощалась в живой образ. В этом образе он узнавал первоисточник *идеи*, вокруг которой, как вокруг тирса, обвивались гирлянды его поэзии.

Тогда имя, прозвучавшее в его ушах, среди сумерек, при всплеске волн о борт лодки, имя, затерявшееся в море вечерних звуков, как цветок Сивиллы, слышалось ему теперь в основной

мелодии оркестра, подхватываемой смычками. Скрипки, виолы и виолончели оспаривали его друг у друга. Внезапные взрывы героических труб прославляли его. Наконец весь оркестр, загремев, бросил его к ликующему небу, откуда должна была засиять звездная корона, возложенная лучезарной Афродитой на голову Ариадны.

При этом откровении молодой человек почувствовал странный, почти благоговейный трепет. Только теперь, в минуту невыразимого экстаза он оценил прелесть одиночества среди неподвижных мраморных изваяний. То же самое чудо, над которым на мгновение приподнялась было завеса при всплеске волн о борт лодки, казалось, совершилось теперь перед его глазами в этом пустынном зале, таком близком к самому центру жизни.

Так покоится морская раковина на берегу волнующегося моря. И снова, как бывало в незабвенные мгновения своей жизни, он почувствовал, что стоит перед лицом Рока, готовящегося озарить его душу новым светом и, быть может, вложить в нее чудесную творческую силу. Чувствуя всю посредственность тысячи жребиев, висящих над головой толпы, жаждущей видений идеальной жизни, он благословил свое одиночество и свою способность общения с этим демоном, слетевшим к нему с таинственным даром,

заклучавшимся в имени неведомой возлюбленной.

Он вздрогнул от взрыва человеческих голосов, торжественными криками приветствовавших непобедимого Бога.

Viva il forte...

Viva il grande...<sup>7</sup>

В глубине залы, казалось, раздался гром литавров.

Эхо промчалось по лестнице Цензоров, по золотой лестнице, по коридорам, вестибюлям, вплоть до фонтанов, потрясая основание дворца громом ликования, среди торжественного спокойствия ночи.

Viva il forte, viva il grande

Vincitor dell' Indie dome!<sup>8</sup>

---

7

*Да здравствует сильный...*

*Да здравствует великий ...*

8

*Да здравствует сильный, да здравствует  
великий*

*Победитель и властитель Индии !*

Казалось, хор приветствует великого бога, внявшего призыву поэта и спустившегося над чудным городом. Казалось, в звуках этих голосов трепещут складки его пурпурной мантии, как пламя, раздуваемое паяльными лампами. Живой образ носился над толпой, создавшей его силой своей фантазии.

Viva il forte, viva il grande...

Басы, контральто, сопрано в бурном ритме фуги повторяли неистовое воззвание к Бессмертному, носившему тысячи имен, увенчанному тысячами корон, «рожденному на неведомом лоне, подобному юноше-отроку». Все древнее опьянение дионисовских торжеств возрождалось и выливалось в голосах этого хора. Полнота и свежесть жизни, подобная улыбке бога-освободителя и утешителя смертных, чувствовались во взрывах буйного восторга. Раздавался треск факелов вакханок. Подобно тому, как в гимне Орфея, отблеск пожара сверкал золотом на юном челе, обрамленном иссиня-черными кудрями.

«Когда огонь объял землю, одним словом он сковал неистовые потоки пламени». Как в гимне Гомера трепетала бесплодная равнина моря и слышались удары весел, подгоняющих ладью на пути к неведомым странам. Лучезарный,



Жизнедатель, Избавитель принял снова образ человека. Священный цветок, друг веселья, Дионис-освободитель являлся снова очам смертных, спускаясь среди ночи на крыльях пения, переполняя чашу радости, предлагая людям новые источники наслаждений.

Пение становилось громче, возносясь к небу, голоса сливались. Гимн прославлял укротителя пантер, львов и тигров. Слышались вопли менад, с закинутыми назад головами, с распущенными волосами, в растерзанных одеждах, бьющих в кимвалы и потрясающих бубнами: Эвое!

Но вдруг все сменилось широким ритмом пасторали, звучной героической темой, вызывающей образ Бахуса Фивейского со светлым челом, овеванным нежными мечтами:

Quel che all'olme la vita in stretto nodo  
Pronuba accoppia, e i pampini feconda...<sup>9</sup>

Два голоса в чередующихся секстах воспевали брачный пир в гибком зеленом царстве растений. Ладья, нагруженная спелыми гроздьями, как

переполненная чаша, — видение созданное вдохновенной речью поэта, проносилось теперь перед глазами толпы. И вот пение снова довершило чудо, представшее некогда очам искусного кормчего Медеида: «И сладкая ароматная влага заструилась по быстrokрылой черной ладье... и до самой мачты взвилась одна ветвь и бесчисленные грозди свешивались с нее... И пышная темная зелень побега обвивалась вокруг реи, и был он усыпан цветами, и дивные плоды зарождались среди его листьев. И все весла были обвиты гирляндами...»

Фуга перешла в оркестр и развивалась там в легких воздушных вариациях, тогда как голоса хора отбивали основные ноты темы.

И вот снова, как тирс над вакхической толпой, взвилась к небу одинокая мелодия свадебного гимна, смеющегося царства растений:

Viva dell olme  
E della vite  
L'almo fecondo  
Sostenitoi!<sup>10</sup>

---

10

*Да здравствуют побеги  
И цветущей ветви  
Единый Создатель  
И покровитель — Вакх !*